UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00011744678
PG3361
.S3
Z667
1926

В. Е. ЕВГЕНЬЕВ-МАКСИМОВ

В ТИСКАХ РЕАКЦИИ

К СТОЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ
М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1926

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬС
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

М. Е. Салтыков (Щедрин)

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕ

ОТДЕЛЬНЫМИ ВЫПУСКАМИ

1. Избранные сказки.
2. Отец и сын.
3. Непочтительный Коронат.—Чуди
4. Галлерея рабов.

Ред. **К. Халабаева** и **Б. Эйхенбаума**

Каждая книжка снабжена биографическим очерком Салтыкова и комментариями, составленными Н. В. Яко

М. Е. Салтыков (Щедрин)

ИЗБРАННЫЕ ОТРЫВКИ ИЗ СОЧИ

В ОДНОМ ТОМЕ

Ред. **К. Халабаева** и **Б. Эйхенбаум**

Биографический очерк и комментарии **Разумника.**

92 Салтыков-Щед
E14
PG3361
.S3
Z667
1926

В. Е. ЕВГЕНЬЕВ-МАКСИМОВ

В ТИСКАХ РЕАКЦИИ

К СТОЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ
М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

V TISKAKH
REAKTSII

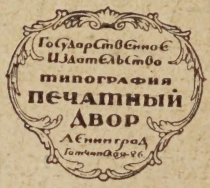
THE LIBRARY
THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
CHAPEL HILL

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД

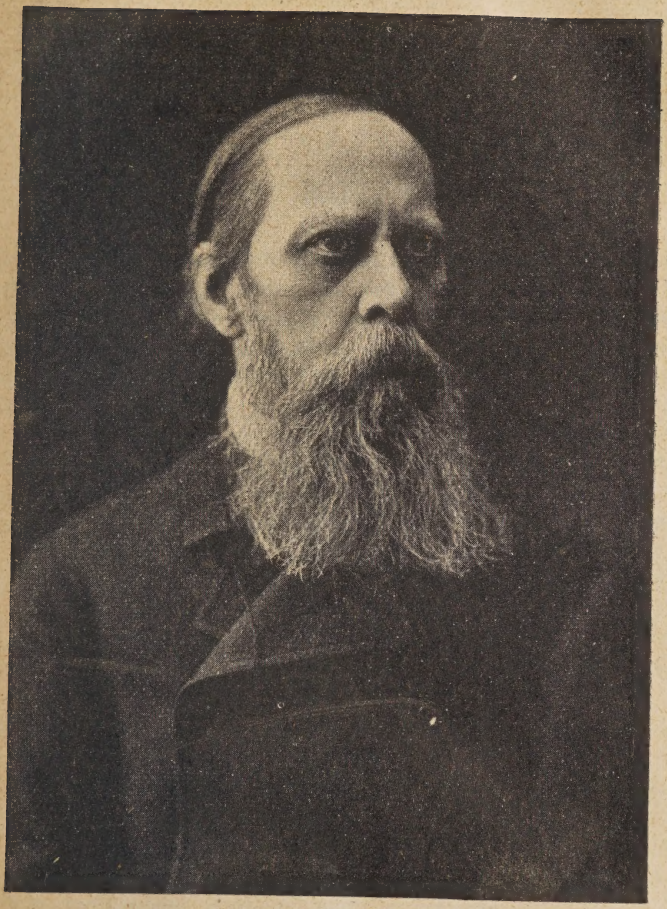
1939. 7

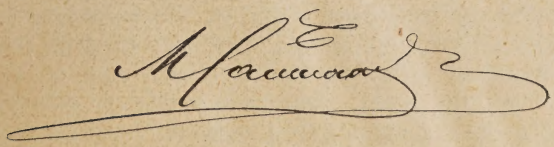
Проверено 1947 г.

Проверено 1959 г.



Ленгиз № 11764.
Ленинградский Гублит № 1886.
8½ г. Отпеч. 4.000 экз.





ОТ АВТОРА.

К столетию рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, исполняющемуся 27 января 1926 года, будет, без сомнения, напечатано немалое количество книг о нем и множество посвященных его памяти статей. Предлагаемая вниманию читателей работа также является непосредственным откликом на столетие рождения великого сатирика. В ней освещается один из наиболее важных, если не самый важный, периодов в его жизни и литературно-общественном служении—период его работы в «Отечественных Записках», т. е. конец 60-х годов, 70-ые и 80-ые годы, освещается, преимущественно, со стороны той упорной, последовательной, самоотверженной, временами приобретавшей трагический колорит борьбы с реакцией как политической, так и социальной, которую вел Салтыков и сотрудники руководимого им журнала.

Автор настоящего исследования позволяет себе надеяться, что его труд представит интерес не только для специалистов — словесников, общественников, историков, но и для широких кругов современных читателей, столь чутких и к настоящему и к прошлому нашего общественного развития. Нисколько не умаляя огромных достижений Салтыкова в области чисто художественного творчества, нельзя все же не отметить, что главный смысл своей литературной деятельности он видел в ее общественной стороне. Центр же этой последней лежал именно в напряженнейшей, проникнутой высоким гражданским пафосом борьбе с реакцией. Не будет преувеличением сказать, что в ряду великих русских писателей XIX века нет ни одного, за исключением, быть может, А. И. Герцена, кото-

рый мог бы, хотя отчасти, равняться с Салтыковым по силе, яркости, неумолимой последовательности, с которыми он клеймил реакцию и в лице общих явлений, ею порождаемых, и в лице ее отдельных представителей. В его руках «Ювеналов бич» являлся поистине ужасным оружием. То, о чем когда-то мечтал Пушкин, призывая «музу пламенной сатиры», было осуществлено Салтыковым. Нет числа «бесстыдно бледным» лицам и «широко медным» лбам, которые приняли на себя под свистящими ударами Салтыковского бича «неизгладимую печать». В этом отношении Салтыков был и посейчас остается единственным и непревзойденным. Неудивительно поэтому, что он возбуждал против себя свирепую ненависть «охранителей», и его писания не переставали служить мишенью для самого ожесточенного цензурного обстрела.

Высказанные соображения объясняют, почему работа, повествующая о борьбе Салтыкова с реакцией, не может рассматриваться как исследование на специальную тему. Более общей темы в отношении Салтыкова, чем эта тема, думается, и быть не может. Автор счастлив, что при разработке ее ему удалось воспользоваться обширными, еще не появлявшимися в печати, материалами, извлеченными им 10 лет тому назад из архивов бывш. главного управления по делам печати. Эти материалы, — доклады министра внутренних дел, донесения департамента полиции, постановления цензурного комитета, а главным образом отзывы цензоров,—дали ему возможность положить в основу изложения многочисленные, до сих пор остававшиеся неизвестными, фактические данные.

В начале книжки дается хронологическая канва, позволяющая проследить главнейшие этапы жизни и общественно-литературной деятельности Салтыкова. За помощь при спешном составлении этой канвы автор приносит искреннюю благодарность Р. В. Иванову-Разумнику.

На последних страницах книги приводятся краткие библиографические указания, которые могут быть использованы каждым читателем, желающим углубить свое знакомство с Салтыковым, в частности выяснить отношение к нему марксистской критики.

ГЛАВНЫЕ ЭТАПЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА.

Хронологическая канва. [1]

1826 г. Января 15	в селе Спас-Угол, Калязинского уезда, Тверской губ., у местных помещиков, коллежского советника Евграфа Васильевича и жены его Ольги Михайловны Салтыковых, родился сын Михаил.
1832 г. Октября 16	С. преподносит своим родителям поздравительные, собственноручно им переписанные, стихи на французском языке.
1833 г. Января 15	С. начал учиться русской грамоте у крепостного человека, живописца Павла.
1834 г. —	Обучение С. переходит в руки старшей сестры его Надежды Евграфовны, окончившей московский Екатерининский институт.
1836 г. Август.	С. поступает в III класс московского дворянского института, только-что преобразованного из университетского пансиона.
1838 г. —	С. переводится в императорский царскосельский лицей.
1841 г. —	Появляется в печати («Библиотека для чтения», т. 45, стр. 105—106) первое стихотворение С. «Лира».
1842 г. —	В том же журнале (т. 50, стр. 10) появляется стихотворение С. «Две жизни».
1844 г. —	С. окончил курс лицея с чином X класса, т. е. «не в числе отличных».
— Августа 23	С. поступил на службу в канцелярию военного министерства.
1844 — 1845 гг.	С. сотрудничал в «Современнике» (тт. 34, 35 — 1844 г. и тт. 37, 39—1845 г.), поместив в нем ряд стихотворений.
1845 — 1846 гг.	В письме В. Р. Зотову С. просит дать ему 3-ю часть «Destinées sociales» Консидерана, утверждая, что эта книга нужна ему «до зарезу».

[1] Наша «хронологическая канва» отнюдь не претендует на полноту и дает указания только на «*главные* этапы жизни и деятельности Салтыкова».

1846 — 1847 гг.	С. получает несколько наград и повышений по службе. К этим годам относится помещение ряда рецензий в «Отечественных Записках» (тт. 55, 56, 57).
1847 г. Ноябрь.	В «Отеч. Зап.» (№ 11) появляется первая прозаическая вещь С., повесть «Противоречия», подписанная «М. Непанов».
1848 г. Март.	В «Отеч. Зап.» (№ 3) появляется повесть С. «Запутанное дело».
— Апреля 26	С. посажен на гауптвахту, так как в его повестях усмотрены были «вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу и ниспровергших власти и общественное спокойствие».
— Апреля 28	в 9 час. вечера С. отправлен, по высочайшему повелению, в сопровождении штабс-капитана петербургского жандармского дивизиона Рашкевича, в Вятку.
— Мая 7	С. доставлен в Вятку.
— Июля 3	С. зачислен в Вятское губернское правление канцелярским чиновником.
— Ноября 12	назначен старшим чиновником особых поручений при Вятском губернаторе (однако, без содержания).
1849 г. Март.	Родители С. возбуждают ходатайство о прощении их сына — отклонено.
— Мая 30	С. исправляет должность правителя канцелярии губернатора (по август).
— Августа 30	С. привлекается к дознанию по делу «петрашевцев».
— Сентябрь.	От С. отбираются ответы на присланные Дуббельтом вопросы о знакомстве его с Петрашевским и петрашевцами.
1850—1851 гг.	Ряд наград и повышений по службе.
1851 г. Августа 21	мать возбуждает ходатайство о прощении — отклонено.
— Октября 28	С. ходатайствует о разрешении «служить в губернии, не ограничиваясь Вятскою» — отклонено.
1852 г. Мая 20	командирован для обревизования земского суда в гор. Нолинск.
— Ноября 6	командирован в Трушниковскую волость Слободского уезда для принятия мер к прекращению крестьянских беспорядков; в составленной служебной записке по этому делу С. энергично защищает экономические интересы крестьян.
1853 г. Январь.	С. получил отпуск на четыре месяца в Ярославскую, Тверскую и Московскую губернии «для устройства домашних дел по случаю смерти отца».
1854 г. Января 15	начальник Вятского жандармского управления ген.-майор бар. Тизенгаузен возбуждает ходатайство о прощении С. — отклонено.
1855 г. Август.	С. получает отпуск на 28 дней для поездки в Тверскую и Владимирскую губернии.

1855 г. Ноября 13 по докладу нового министра вн. дел С. С. Ланского С. получает высочайшее разрешение «проживать и служить, где пожелает».

— Ноябрь. Отъезд из Вятки.

— Декабрь-январь. Женитьба на Елизавете Аполлоновне Болтиной в проезд через Москву.

1856 г. Февраля 12 С. уволен от должности советника Вятского губернского правления с причислением к министерству внутренних дел.

— Июня 20 С. назначен исправляющим должность чиновника особых поручений VI класса при этом министерстве.

— Августа 5 командирован для обозрения делопроизводства Тверского и Владимирского губернских комитетов ополчения; составил по этому делу обширную служебную записку.

— Октябрь. С. поручается составление предположений об улучшении устройства земских повинностей.

В «Русском Вестнике» (с августа по декабрь) печатаются «Губернские очерки».

1857 г. — В течение года в «Русском Вестнике» печатаются новые рассказы цикла «Губернских очерков», а также «Приезд ревизора» и «Смерть Пазухина»; в «Современнике» (№ 10) — напечатан рассказ «Жених».

Отдельными изданиями вышли «Губернские Очерки»: 1-е издание — в январе в двух томах; 2-е — в августе в трех томах.

1858 г. Марта 6 С. назначен Рязанским вице-губернатором, при чем в течение года несколько раз замещает губернатора в деле управления губернией.

Сотрудничал в «Библиотеке для чтения» (№ 2), «Атенее» (№ 5) и «Русском Вестнике» (№ 6), где поместил «Утро у Хребтюгина», «Святочный рассказ» и «Два отрывка из книги об умирающих».

1859 г. — В течение года пять раз исправлял должность губернатора.

В «Современнике» (№ 2) и «Московских Ведомостях» (№№ 3, 15 и 46) напечатал рассказы: «Развеселое житье», «Генерал Зубатов», «Гегемониев» и «Погребенные заживо», а в «Сборнике памяти Смирдина» — повесть «Яшенька».

1860 г. Весна. С. вызван в Петербург в виду столкновений с губернатором.

— Марта 19 участвует в занятиях учрежденной при министерстве внутренних дел комиссии о губернских и уездных учреждениях.

— Апреля 3 назначен Тверским вице-губернатором.

С этого года становится преимущественным сотрудником «Современника» и печатает в этом журнале рассказы «Скрежет зубовный» (№ 1) и «Наш дружеский хлам» (№ 8).

1861 г.	—	Несколько раз, иногда в течение двух-трех месяцев под ряд, исправлял обязанности Тверского губернатора. В «Современнике» напечатал: «Литераторы-обыватели» (№ 2), «Клевета» (№ 10), «Наши глуповские дела» (№ 11); кроме того, поместил ряд небольших статей в «Моск. Вед.» и «Соврем. Летописи».
1862 г.	Февраля 9	уволен по болезни, согласно прошению, от службы.
—	Апрель.	Переезжает из Твери в Москву и в бытность свою здесь возбуждает ходатайство о разрешении издавать ему журнал «Русскую Правду» — ходатайство это не было удовлетворено.
—	Декабрь.	Становится ближайшим сотрудником и соредактором «Современника»; около этого же времени составляет «Замечания на проект устава о книгопечатании». Печатался в «Современнике» (очерк «К читателю» — в № 2) и «Времени» («Недавние комедии» — в № 4 и «Наш губернский день» — в № 9).
1863 г.	—	В качестве ближайшего сотрудника и соредактора «Современника» проявляет изумительную работоспособность и плодовитость: в журнале печатаются в течение этого года десятки его статей. [1] Выходят отдельными изданиями: «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе».
1864 г.	Ноября 6	назначен председателем Пензенской казенной палаты.
—	Декабря 9	произведен за отличие в действительные статские советники.
	Конец года	проводит в своем подмосковном имении «Витенево», купленном им в 1861 — 1862 гг. Сотрудничество в «Современнике» в течение большей части этого года отличается той же интенсивностью, что и в прошлом году. Вышли третьим изд. «Губернские Очерки».
1865 г.	Январь.	Переезжает на жительство в Пензу; поглощенный служебными обязанностями, С. отходит от литературной деятельности и не печатает в этом году ни одного произведения.
1866 г.	Ноября 2	назначен управляющим Тульской казенной палатой. Напечатал в «Современнике» только очерк «Завещание моим детям» (№ 1).
1867 г.	Октябрь.	Назначен управляющим Рязанской казенной палатой.
—	Декабрь.	Предпринимает «странствование по губернии», очевидно, со служебными целями. За весь год не печатает ничего.
1868 г.	Январь.	Нуждаясь в деньгах, берет у Некрасова взаймы 2 500 р.

[1] Их подробная библиография приведена в книге Пыпина о Салтыкове (СПБ. 1899 г.); однако, в этой библиографии есть пропуски, которые восполнены мною в особом приложении в конце книги.

1868 г. Июня 14 уволен, согласно прошению, от службы.

— Июнь-август проводит в Витеневе.

— Сентябрь. Цензура обвиняет «Отеч. Зап.» в «сродстве» с запрещенным «Современником», ссылаясь, в подтверждение, на содержание печатаемых в них произведений С.

С этого года начинается интенсивное сотрудничество С. в «Отеч. Зап.», где он печатает целый ряд очерков под заглавием: «Письма из провинции» (№№ 2, 4, 5, 9, 10) и «Признаки времени» (№№ 1, 8, 9, 11), а также два очерка помпадуровского цикла: «Старый кот на покое» (№ 2) и «Старая помпадурша» (№ 11); к концу года С. становится соредактором Некрасова по «Отеч. Зап.».

1869 г. Декабря 22 С. избран кандидатом в члены комитета Литер. Фонда.

В течение года печатает в «Отеч. Зап.» продолжение «Признаков времени» (№ 1) и «Писем из провинции» (№№ 3, 8, 11); начинает печатание «Истории одного города» (№ 1) и «Господ Ташкентцев» (№№ 10 и 11), а также — «Для детей» (№№ 2 и 3) и «Испорченные дети» (№ 9).

Отдельным изданием выходят «Признаки времени и письма из провинции».

1870 г. Ноября 22 С. переизбран кандидатом в члены комитета Литер. Фонда.

В «Отеч. Зап.» продолжают печататься «История одного города» (№№ 1—4, 9), «Письма из провинции» (№№ 3, 4 и 9) и «Господа Ташкентцы» (№ 11).

Отдельным изданием выходит «История одного города».

1871 г. Февраля 2 С. избирается членом комитета Литер. Фонда сроком по 2 февраля 1874 г.; в качестве члена комитета, С. несколько раз возбуждает вопросы об оказании помощи нуждающимся литераторам (например, Благовещенскому), посещая некоторых из них на дому (напр., Гомулецкого).

— Октябрь. III отделение собств. его имп. велич. канцелярии, согласно распоряжению Александра II, обращает внимание мин. внутр. дел на статьи Салтыкова и Михайловского по делу Нечаева, напечатанные в № 9 «Отеч. Зап.».

В «Отеч. Зап.» в этом году печатаются продолжение «Господ Ташкентцев» (№№ 9 и 11), а также очерки помпадуровского цикла (№№ 1 и 5).

1872 г. Февраля 1 у Салтыкова родился сын Константин.

— Июнь и последующие месяцы С. проводит в Витеневе.

— Июля 19 объявлено первое предостережение «Отеч. Зап.», одной из главных причин которого послужила VI глава «Дневника провинциала» (в № 6).

Кроме «Дневника провинциала» (№№ 1—6, 8, 10—12), в этом году в «Отеч. Зап.» печатаются

«Ташкентцы» (№№ 1 и 2) и «Благонамеренные речи» (№ 10).

Вторым изданием выходят: «Признаки времени и письма из провинции».

1873 г. Января 15 у С. родилась дочь Елизавета.

К этому же году относятся хлопоты С., как члена комитета Литер. Фонда, о пособиях некоторым нуждающимся литераторам (напр. Благовещенскому).

В «Отеч. Зап.» продолжают печататься «Благонамеренные речи» (№№ 4, 10 и 12), «Дневник провинциала» (№№ 2 и 4), рассказы помпадуровского цикла (№№ 3, 9, 11), «Между делом» (№ 11).

Отдельными изданиями выходят: «Дневник провинциала», «Помпадуры и помпадурши» и «Господа Ташкентцы».

1874 г. Января 1 возобновлено условие по изданию «Отеч. Зап.» между С., Некрасовым и Елисеевым.

— Мая 17 арестован № 5 «Отеч. Зап.» в виду «предосудительности» помещенных в нем статей С-ва (9-я гл. «Благонамеренных речей»), Успенского, Михайловского и Кроткова.

С. впервые обращается за медицинской помощью к д-ру Н. А. Белоголовому.

— Декабрь. Смерть матери и вызванная ею поездка С. на похороны в Тверскую губернию, во время которой он сильно простудился.

В «Отеч. Зап.» продолжают печататься «Благонамеренные речи» (№№ 1—3, 9—10), помпадуровский цикл («Зиждитель» в № 4), «Между делом» (№ 11) и начали печататься «Экскурсии в область умеренности и аккуратности» (№№ 9—11); в сборнике «Складчина» появился очерк «Город».

1875 г. Февраль. Обострение болезни С., вследствие которой он должен был лечь в постель.

— Апреля 12 С. выезжает за границу.

— Апрель-август. Пребывание С. с лечебными целями в Баден-Бадене.

— Август. Белоголовый, навестивший С. в Бадене, находит значительное улучшение в состоянии его здоровья.

— Сентября 5 С. приезжает в Париж.

В этом же месяце цензура вырезывает IV главу «Экскурсий в область умеренности и аккуратности» из 9-го номера «Отеч. Зап.».

— Октябрь (средина). С. присутствует в Буживале у Тургенева на чтении комедии гр. В. А. Соллогуба, изображающей нигилиста-вора, и в такой мере возмущается ее содержанием, что с ним «сделалось что-то в роде истерики».

— Октября 20 уезжает из Парижа в Ниццу через Лион и Марсель; в последнем пробыл 5 дней.

— Октября 27 приехал в Ниццу, где и оставался до апреля следующего года.

В «Отеч. Зап.» в этом году С. продолжал печатание «Благонамеренных речей» (№№ 1, 3, 4, 10—12), очерков «Между делом» (№№ 1 и 9), а также напечатал рассказ «Сон в летнюю ночь» (№ 8).

1876 г. Апреля 17 уезжает из Ниццы в Париж.

— Мая 16-17 уезжает из Парижа в Баден-Баден.

— Мая 31 возвращается в Россию.

— Июнь-август проводит в Витеневе.

— Сентября 3 С. посещает начальника главн. упр. по делам печати В. В. Григорьева, который принял его до крайности нелюбезно.

— Сентября 6 ходатайствует перед комитетом Литер. Фонда о выдаче пособия Гл. И. Успенскому.

В этом году С. печатал в «Отеч. Зап.» продолжение «Благонамеренных речей» (№№ 3—6), «Экскурсий в область умеренности и аккуратности» (№№ 9—10), отдельные очерки из «Господ Головлевых» (№№ 8 и 12) и «Культурные люди» (№ 1).

Отдельным изданием в двух томах выходят «Благонамеренные речи».

1877 г. Февраля 2 избран товарищем председателя Литер. Фонда; в этом же месяце цензура вырезала в № 2 «Отеч. Зап.» рассказ «Чужую беду — руками разведу».

К этому году относится ряд ходатайств С. пред комитетом Литер. Фонда о пособии некоторым нуждающимся литераторам (напр., В. А. Слепцову, П. Висковатову).

В «Отеч. Зап.» С. начал печатание «Современной Идиллии» (№№ 2—4), продолжал печатание очерков «В среде умеренности и аккуратности» (№№ 8, 9, 10, 11), а также поместил рассказ «Дети Москвы» (№ 1).

1878 г. Февраль. Цензура вырезала в № 2 «Отеч. Зап.» IV главу «Современной Идиллии», усмотрев в ней «возмутительно дерзкое глумление над происхождением нашего государства».

— Марта 10 С. подает прошение в главн. упр. по делам печати об утверждении его ответственным редактором «Отеч. Зап.», взамен скончавшегося в декабре 1877 г. Некрасова.

— Марта 27 министр внутр. дел, по докладу начальника главн. упр. В. В. Григорьева, утверждает С. ответственным редактором «Отеч. Зап.».

— Апреля 8 заключается договор с собственником «Отеч. Зап.» об издании журнала.

В этом году С. продолжал печатание в «Отеч. Зап.» «Современной идиллии» (№№ 3, 4), начал «Убежище Монрепо» (№ 8), а также поместил рассказы «Дворянская хандра» (№ 1) и «Похороны» (№ 9).

Отдельным изданием вышли «Сказки и рассказы», «В среде умеренности и аккурат-

ности» и «Избранные сочинения Щедрина» (в изд. «Русской Библиотеки», т. VIII), снабженные просмотренной самим автором биографией его.

1879 г. Февраля 14 первое [1] предостережение «Отеч. Зап.» за «Внутреннее обозрение», помещенное в № 1.

— Сентября 14 подвергается цензурным купюрам статья С. «Finis Монрепо» и исключению первая половина статьи «1-е июня — 1-е июля» цикла «Круглый год» в № 9 «Отеч. Зап.».

— Ноября 17 цензура вырезала из № 11 «Отеч. Зап.» очерк «В добрый час».

— Декабрь. В городе распространяются слухи о запрещении «Отеч. Зап.».

В «Отеч. Зап.» в этом году печатается продолжение «Убежища Монрепо» (№№ 2, 8, 9, 11), «Круглый год» (№№ 2, 3, 8—12), «Больное место» (№ 1) и «Старческое горе» (№ 5).

Отдельными изданиями выходят «История одного города» (2-е издание) и «Помпадуры и помпадурши» (2-е издание).

1880 г. Февраля 2 С. избран в члены комитета Литер. Фонда.

— Февраля 16 цензура исключает рассказ С. «Вечерок» из № 2 «Отеч. Зап.».

— Мая 28 С. принимает участие в организации при Литер. Фонде Пушкинского капитала в связи с открытием памятника Пушкину.

— Июня 10 С. поддерживает просьбу Е. С. Гаршиной об оказании помощи на лечение за границей ее сына Всеволода, находившегося в это время в психиатрической лечебнице в Харькове.

— Июня 28 С. уезжает за границу.

— Июль. Пребывание С. в Эмсе.

— Июля 30 С. уезжает в Баден-Баден, откуда совершает экскурсию по Швейцарии.

— Августа 17 уезжает в Париж.

— Сентября 21 выезжает из Парижа в Россию.

В «Отеч. Зап.» печатаются «Игрушечного дела людишки» (№ 1), «Не весьма давно» (№ 4), заканчиваются головлевская хроника (№ 5) и «В среде умеренности и аккуратности» (№ 12) и начинает печататься «За рубежом» (№№ 9—11).

Отдельными изданиями выходят: «Круглый год», «Господа Головлевы» и «Благонамеренные речи» (2-е изд.).

1881 г. Январь. Хлопоты у начальника главн. упр. по делам печати Н. С. Абазы о разрешении напечатать в «Отеч. Зап.» «Пир на весь мир» Некрасова (часть поэмы «Кому на Руси жить хорошо»).

---

[1] После взятия Плевны русскими войсками, ранее данные предостережения были аннулированы, а потому это предостережение, в действительности, второе, было объявлено как первое.

1881 г. Июнь. Приезд С. в Висбаден.

— Июль. С. получает от гр. М. Т. Лорис-Меликова сведения об образовании «Священной дружины».

— Августа 19 С. выезжает из Висбадена в Париж.

— Августа 31 в Москве небольшим кружком литераторов, художников и актеров было отпраздновано 25-летие литературной деятельности С. (считая с начала печатания «Губернских очерков»), при чем был образован денежный фонд для открытия школы его имени.

— Сентября 22 С. возвращается в Петербург.

— Октября 2 цензура вырезывает из № 9 «Отеч. Зап.» третье «Письмо к тетеньке».

— Октября 18 беседа С. с министром внутр. дел гр. Н. П. Игнатьевым о причинах исключения третьего «Письма к тетеньке».

— Декабря 7 С. выбывает из числа членов Литер. Фонда.

— Декабря 19 С. возбуждает ходатайство перед комитетом Литер. Фонда об оказании помощи литератору Новодворскому.

В «Отеч. Зап.» заканчивается печатание «За рубежом» (№№ 1, 2, 5, 6), начинают печататься «Письма к тетеньке» (№№ 7, 8, 11, 12).

Отдельными изданиями выходят: «За рубежом», «Сборник рассказов, очерков и сказок», «Невинные рассказы» (2-е изд.), «Сатиры в прозе» (2-е изд.), «Дневник провинциала» (2-е изд.), «Господа Ташкентцы» (2-е изд.), «В среде умеренности и аккуратности» (2-е изд.).

1882 г. Февраль. С-ву доставлен адрес от его воронежских почитателей.

— Июнь-август. Пребывание С. на даче в Ораниенбауме.

— Осень. Студенты С.-Петербургского университета просят С. отозваться на ведущуюся в их среде пропаганду агентами «Священной дружины».

— Октября 2 директор департамента полиции В. К. Плеве возбуждает вопрос о XII главе «Современной Идиллии» (№ 9 «Отеч. Зап.»), в которой он усматривает «оскорбление величества».

В «Отеч. Зап.» заканчиваются «Письма к тетеньке» (№№ 1—5) и продолжается «Современная Идиллия» (№№ 9, 10, 12).

Отдельными изданиями выходят: «Убежище Монрепо», «Письма к тетеньке», «Признаки времени и письма из провинции» (3-е изд.), «Помпадуры и помпадурши» (3-е изд.), «Губернские очерки» (4-е изд.).

1883 г. Января 1 соредактор С. по «Отеч. Зап.» Н. К. Михайловский выслан из Петербурга за речь, сказанную на вечеринке студентов Технологического института.

— Января 22 «Отеч. Зап.» объявлено второе предостережение за стремление «выставить в ненавистном свете

общественный, гражданский и экономический строй» и за симпатии «к крайним социалистическим доктринам» (в тексте предостережения была названа статья Н. Николадзе, но из архивных дел главн. упр. по делам печати явствует, что главным основанием для предостережения послужила XXII гл. «Современной Идиллии»).

1883 г. Апреля 28 обед по случаю 35-летия литературной деятельности С. (считая с 1848 г.—года ссылки С. в Вятку).

— Май. В городе распространяются слухи о высылке С.

— Июль. Отъезд С. за границу и пребывание его в Кларане.

— Август (средина). Приезд С. в Париж и свидание здесь с Елисеевым.

— Октября 20 возобновление договора с Краевским по изданию «Отеч. Зап.» еще на два года, т. е. до 1 января 1886 г.

В «Отеч. Зап.» заканчивается «Современная Идиллия» (№№ 1 и 5) и начинаются «Пошехонские рассказы» (№№ 8—12).

Отдельными изданиями выходят: «Современная Идиллия», «История одного города» (3-е изд.), «Убежище Монрепо» (2-е изд.), «Круглый год» (2-е изд.), «Господа Головлевы» (2-е изд.), «Благонамеренные речи» (3-е изд.), «Сборник» (2-е изд.).

1884 г. Января 1 арест С. Н. Кривенко, одного из главных помощников С. по ведению «Отеч. Зап.» в это время.

— Февраль. Цензура вырезала из № 2 «Отеч. Зап.» четыре «Сказки»: «Добродетели и пороки», «Медведь на воеводстве», «Обманщик газетчик и легковерный читатель», «Вяленая вобла».

— Марта 8 объяснение С. с начальником главн. упр. по делам печати Е. М. Феоктистовым.

— Апреля 20 в «Правительственном Вестнике» появляется подробно мотивированное распоряжение совещания четырех министров об окончательном запрещении «Отеч. Зап.».

— Апреля 24 настояния С. оказать материальную поддержку оставшимся без заработка сотрудникам «Отеч. Зап.» ведут к столкновению его с издателем журнала А. А. Краевским.

— Июнь и последующие летние месяцы С. проводит на даче на ст. Сиверской.

— Июля 23 окончание ликвидации «Отеч. Зап.».

— Ноября 1 начало сотрудничества С. в «Вестнике Европы».

— Ноября 21 С. просит Литер. Фонд об оказании пособия жене сосланного С. Кривенко.

— Декабря 25 начало сотрудничества С. в «Русских Ведомостях».

В «Отеч. Зап.» (№ 1) напечатаны три «Сказки»: «Самоотверженный заяц», «Бедный волк», «Премудрый пискарь»; в «Сборнике XXV лет», изданном Литер. Фондом, три «Сказки»: «Карась-идеалист»,

1884 г. Декабря 25 «Добродетель и пороки», «Обманщик газетчик и легковерный читатель»; в «Вестнике Европы» (№№ 11, 12) начали печататься «Пестрые письма»; в «Русских Ведомостях» была напечатана сказка «Чижиково горе».

Отдельным изданием вышли: «Недоконченные беседы» («Между делом»).

1885 г. Январь. Болезнь (скарлатина) сына С.

— Апреля 30 избрание почетным членом Об-ва Любителей Российской Словесности.

— Мая 23 семья С. уезжает за границу.

— Июнь (средина). С. приезжает в Висбаден, где живет около двух месяцев на попечении д-ра Белоголового.

— Август (средина). Отъезд из Висбадена и возвращение в Петербург.

— Декабрь. Сильное обострение болезни С.

В «Вестнике Европы» продолжается печатание «Пестрых писем»; в «Неделе» (№ 3) напечатана сказка «Неумытный Трезор», в «Русских Ведомостях» ряд сказок.

Отдельным изданием выходят: «Пошехонские рассказы», «Невинные рассказы» (3-е изд.), «Сатиры в прозе» (3-е изд.), «В среде умеренности и аккуратности» (3-е изд.), «Господа Ташкентцы» (3-е изд.), «Дневник провинциала» (3-е изд.).

1886 г. Март. Болезнь (корь) сына и дочери С.

— Июнь и последующие летние месяцы С. проводит на даче в Финляндии, в Новой Кирке.

— Августа 14 после годового перерыва, вызванного болезнью, С. возобновляет литературную работу.

— Август (конец). Возвращение в Петербург.

В «Вестнике Европы» заканчиваются «Пестрые письма» (№№ 9, 10) и начинают печататься «Мелочи жизни» (№№ 11, 12); в «Русск. Вед.» напечатан один из очерков этого цикла (№ 238) и ряд сказок.

Отдельным изданием выходят: «Двадцать три сказки», «Пестрые письма», «Помпадуры и помпадурши» (4-е изд.).

1887 г. Мая 20 С. переезжает на дачу на ст. Серебрянку (по Варш. жел. дор.).

— Августа 28 возвращение в Петербург.

В «Вестнике Европы» заканчиваются «Мелочи жизни» (№№ 1—4), начинает печататься «Пошехонская старина» (№№ 10—12), напечатан этюд «Счастливец» (№ 6); в «Неделе» (№ 2) напечатана «Полковницкая дочь».

Отдельными изданиями выходят: «Двадцать три сказки» (2-е изд.) и «Мелочи жизни» в двух томах.

1888 г. Июнь 6—7 переезд на дачу на ст. Преображенскую.

— Август. Возвращение в Петербург.

В «Вестнике Европы» продолжается «Пошехонская старина» [(№№ 3, 4, 9—12); в «Русской Старине» (№ 11) напечатана заметка о Буташевиче-Петрашевском.

1889 г. Января 28 окончание «Пошехонской старины».

— Апрель (средина). Выход в свет первого тома «Собрания сочинений» С. в издании автора.

— Апреля 26 около 3 часов пополудни С. лишился употребления языка и правой руки и впал в бессознательное состояние.

— Апреля 28 кончина С.

— Мая 2 похороны С.

В «Вестнике Европы» заканчивается «Пошехонская старина» (№№ 1—3); напечатан рассказ «Брусин» (№ 5) и «Последняя страница» (№ 6); в «Сборнике памяти Гаршина» напечатана сказка «Ворон-челобитчик».

Одним только утешаюсь: лет через тридцать я всю эту историю во всех подробностях на страницах «Русской Старины» прочту. Я то впрочем, пожалуй, и не успею прочитать, так все равно дети прочтут.

М. Е. Салтыков («Письма к тетеньке»).

I.

В одной из заключительных глав «Писем к тетеньке», напечатанных в начале 1882 г. в «Отеч. Записках», М. Е. Салтыков-Щедрин, отвечая на неоднократно предъявляемые ему обвинения во «вредности», так определяет сущность своего литературного служения: «неизменным предметом моей литературной деятельности всегда был протест против произвола, двоедушия, лганья, хищничества, предательства, пустословия и т. д. Ройтесь сколько хотите во всей массе мною написанного — ручаюсь, ничего другого не найдете»... Нет надобности распространяться, что упоминаемые здесь сатириком отрицательные явления русской жизни не были случайными на фоне современной ему общественной действительности. Они представляли собою порождение господствовавшего в те времена социально-экономического и политического уклада, при чем, с начала 60-х годов вплоть до смерти Салтыкова, не только не обнаруживали тенденции к уменьшению, а, наоборот, непрерывно возрастали. Учитывая непрерывность этого роста, Салтыков в тех же «Письмах к тетеньке» говорит: «двадцать лет сряду «все хуже никогда не бывало». Не успеешь докончить восклицание — ан опять приходится сызнова начинать. И сравнивать даже незачем: не бывало хуже — вот и все. И прежде, и после, и теперь — всегда!». Двадцать лет тому назад, т. е. с 1862 г., началось, по Салтыкову, «ухудшение» и идет crescendo. Так это было и на самом деле: чуть ли не с самого 19 февраля 1861 г. реакция подняла голову и, встре-

чая все более и более благодарную почву в настроениях царя, придворно-аристократических верхов, землевладельческого класса, а временами и в настроениях с поразительной быстротой формировавшейся буржуазии, мало-по-малу, вступила на путь последовательной ликвидации того, что было сделано в области обновления русской жизни в первые годы царствования Александра II, несмотря на то, что сделанное не возвышалось над уровнем умеренно-либеральных, нередко весьма и весьма половинчатых реформ, предпринятых под давлением процесса, с неудержимой стремительностью переводившего Россию из одной хозяйственной фазы в другую. Особенно заметным стало торжество реакции после каракозовского выстрела (4 апр. 1866 г.), когда «ташкентцы, обратившиеся внутрь», ввели в обиход самый возмутительный произвол и самые вопиющие нарушения законов под предлогом борьбы с крамолою.

К этому времени Салтыков окончательно порвал с чиновничьей службой (14 июня 1868 г. он вышел в отставку с должности управляющего Рязанской казенной палатой) и переселился в Петербург, чтобы окончательно посвятить себя журналистике. Михаил Евграфович по своей натуре принадлежал к людям, не умеющим отдаваться чему-либо наполовину: если в 1866 г. он напечатал всего одно произведение («Завещание моим детям» «Современник», № 1), а в 1867 г. — ни одного, то с 1868 г. на страницах «Отеч. Записок» его произведения начинают появляться из книжки в книжку. В 1869 г. Салтыков меняет положение сотрудника этого журнала на положение одного из членов редакционного триумвирата, не перестав, конечно, быть деятельнейшим его сотрудником, и благодаря этому нити, связывавшие его с «Отеч. Записками», становятся еще крепче, еще прочнее.

Из сделанных выше фактических указаний явствует, что особенно интенсивный характер литературная деятельность Салтыкова приобрела как-раз тогда, когда реакция не только подняла голову, но уже составляла основной фон общественной жизни. Следовательно, Салтыковский «протест против произвола, двоедушия, лганья, хищничества, предательства, пустословия» и подобных им явлений, особенно пышным цветом распускающихся в реакционные эпохи, был особенно нужен с точки зрения интересов современной общественности, но в то же время сопряжен с наибольшими трудностями в его гласном выражении, с наибольшим риском для

протестующего. Ни эти трудности, ни этот риск не испугали Салтыкова. Как опытный, искушенный долговременным сотрудничеством в русских журналах и в годы, когда существовала предварительная цензура, и после ее отмены (т. е. с осени 1865 г.), писатель, он в широких размерах прибегал к тому средству, которое, несмотря на свои заведомо отрицательные и даже мучительные стороны, все же оставалось единственным и незаменимым. Это средство — пресловутый «эзоповский язык», благодаря которому, даже в периоды наибольшего угнетения печатного слова, русским писателям, нет-нет, да и удавалось провозить в своих произведениях контрабанду вольных мыслей и идей. Салтыков — один из лучших, если не лучший мастер «эзоповского языка». Со свойственной ему суровой прямотою он говорит об этом в «Круглом годе» (1879 г.): «моя манера писать есть манера рабья. Она состоит в том, что писатель, берясь за перо, не столько озабочен предметом предстоящей работы, сколько обдумыванием способов проведения его в среду читателей. Еще древний Эзоп занимался таким обдумыванием, а за ним и множество других шло по его следам. Эта манера изложения, конечно, не весьма казиста, но она составляет оригинальную черту очень значительной части произведений русского искусства, и я лично тут ровно не при чем... Она нимало не затемняет моих намерений, а, напротив, делает их только общедоступными». Заключительные слова нуждаются в некотором пояснении. Эзоповский язык делает авторские намерения общедоступными, конечно, только в том смысле, что дает возможность затронуть в иносказательной форме вопросы, которых нельзя было касаться прямо. Но, по существу своему, всякий «эзопизм», всякое иносказание несколько затемняет смысл, делает сплошь да рядом авторскую мысль не вполне понятной. Особенно это дает себя чувствовать, когда уже прошло известное время после написания данного произведения. Те произведения, о которых в данном случае идет речь, или относятся к области чистой публицистики или стоят на грани публицистики и художественного творчества. Как таковые, они теснейшим образом связаны с современностью, а потому понимание их, несмотря на уснащенность эзопизмами, не представляет особых затруднений для читателей, когда то, о чем они говорят, у всех, если не на устах, то на сердце. Другое дело, когда читатели отделены от произведения промежутком времени

настолько длинным, что вопросы, события, лица, затрагиваемые в нем, перестали уже быть вопросами, событиями и лицами современности. Нет никакого сомнения в том, что Салтыков очень хорошо сознавал, что его произведения, сильны именно своею связью с современностью. «Писания мои, — читаем мы в «Круглом годе», — до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности». С другой стороны Салтыков вполне уяснил себе и то, что раз уж современным читателям приходится прибегать к «угадыванию смысла» его произведений и комментировать их, то «детям и внукам» «без комментариев шагу ступить будет нельзя, т. к. все в этих писаниях будет им казаться невозможным и неестественным, да и самый бытописатель представится человеком назойливым и без нужды неясным» («Письма к тетеньке»)... В общем Салтыков, конечно, прав в этих самых суждениях, но кое-что в них все же нельзя не отнести на долю его излишней скромности.

Едва ли приемлемо его утверждение, что его произведения имеют в настоящее время только ту ценность, что иллюстрируют его, уже отошедшую от нас во мрак времен, современность. В мои намерения не входит сколько-нибудь подробный литературный анализ произведений великого сатирика. Тем не менее не будет излишним еще раз напомнить, что большинством представителей русской критики давно уже усвоено мнение, что лучшие творения Салтыкова на многие годы пережили свое время в силу своей высокой художественной ценности. И язык, и стиль, и образы их, при всей своей своеобразности, носят на себе печать несомненной, хотя, быть может, не совсем обычной красоты. Правда, трудно отрицать, что иногда публицист побеждает в Салтыкове художника, но сплошь да рядом сочетание публицистического и художественного элементов образуют такое непередаваемо гармоническое, только Салтыкову присущее, сочетание, что о Салтыкове и можно и должно говорить как о создателе совершенно особого литературного жанра, способного и теперь, по истечении нескольких десятилетий, производить чисто художественное впечатление.

А эмоциональность, проникающая сверху до низу все писания Салтыкова, разве она «не потрясает сердца» и современного читателя?.. Источник этой эмоциональности, опять-таки настолько своеобразной, что она не имеет прецедентов в русской литературе,—в тех «болях» от созерцания многочисленных несовершенств современной действительности, «которые, непрерывно возобновляясь, сделались, наконец, главным содержанием его жизни, дали направление и окраску всей его деятельности» («Приключение с Крамольниковым»). «И он не только не старался утишить эти боли, а, напротив, работал над ними и оживлял их в своем сердце. Живость боли и непрерывное ее ощущение служили источником живых образов, при посредстве которых боль передавалась в сознание других» (там же)...

Излишне скромен Салтыков также и тогда, когда утверждает, что все в его писаниях покажется будущему читателю неестественным и невозможным. Наша эпоха очень далеко отошла от Салтыковской, и многое, имевшее полную актуальность тогда, теперь способно показаться созданием расстроенного воображения, многое, но не все... Было бы непростительным самообольщением думать, что созданные мастерскою кистью сатирика образы слабодушных и невежественных российских обывателей, хищных буржуа, легкомысленных «помпадуров», неистовых «ташкентцев» и т. д. и т. п. совершенно отжили. Конечно, изменились обличья, но сущность нередко осталась та же. Однако, и изменения в обличьях во многих случаях достаточно, чтобы сделать необходимым комментарий, без которого современный читатель, действительно, многого не поймет, во многом не разберется... Впрочем и здесь необходимо весьма существенное ограничение: среди творений Салтыкова немало найдется таких, которые и в наши дни не требуют никакого комментария. Достаточно назвать «Господ Головлевых», «Пошехонскую старину», многие из «Губернских очерков», из «Сказок» и т. д.

Вот те соображения, которые, думается, позволяют говорить о Салтыкове как о писателе, далеко не отжившем для нашей современности. Для своей же современности он является одной из самых заметных литературных фигур, прежде всего, благодаря, уже отмеченному выше, неукротимому духу протеста. Протест этот было бы, конечно, совершенно неправильно приравнивать к отрицанию ради

отрицания, в чем Салтыкова нередко упрекали критики враждебного ему лагеря. Он знал об этих упреках, они, повидимому, несколько задевали его. Вероятно, не без их влияния сатирик не однажды заговаривает о своем «знамени». Здесь опять-таки не место сколько-нибудь подробно характеризовать это последнее, тем более, что вопрос о знамени Салтыкова с достаточной подробностью освещен в целом ряде работ, начиная со статей К. Арсеньева, напечатанных еще при жизни сатирика, продолжая исследованиями В. И. Семевского и Вл. Кранихфельда и кончая совсем недавними очерками Н. В. Яковлева. Но все же в работе, подобной нашей, трудно обойтись хотя бы без самой краткой формулировки того, в чем заключалась сущность общественного «символа веры» Салтыкова. Подпочву общественных взглядов Михаила Евграфовича, бесспорно, составляли идеи социализма. Фурьерист и сенсимонист смолоду, он и впоследствии не перестал сочувствовать основным принципам социалистической доктрины. Об этом можно судить хотя бы по такому сравнительно позднему произведению его, как «Мелочи жизни» (1886 г.). «Старинные утописты, — говорит здесь Салтыков, — были вполне правы, утверждая, что для новой жизни и основания должны быть даны новые и что только при этом условии человечество освободится от удручающих его зол»... Какие же это «основания»? Ответ на этот вопрос содержится, между прочим, в рассказе «Пошехонские реформаторы». Вложенный в уста доморощенному «реформатору», богомолу и самоучке, он приобретает специфически русскую окраску, но тем не менее его социалистическая сущность вне всяких сомнений. Андрюша Курзанов, проповедуя необходимость «жить по-божески», в это понятие вкладывает такое содержание: это значит — «тебе кусок, и ему кусок, и всем прочим по куску»; далее, «чтобы ни рабов, ни данников, ни кабальных людей, ничего такого чтоб не было; все в равной друг с другом любви должны жить; я тебе послужу, ты — мне»; наконец «душу свою за други свои полагать надо»... Из этой формулы, за которую несчастному Андрюше, «яко потрясателю основ», пришлось сначала претерпеть процесс «измочаливанья» с помощью начальнического костыля, затем долгие месяцы «сидеть в кутузке» и, в довершение всего, подвергнуться административной высылке, определяемой автором выразительным

словечком: «фюить!» — нетрудно вывести основы социалистической идеологии: здесь и равномерное распределение земных благ, и трудовой коллективизм, и общественная солидарность. Эти основы, без сомнения, входили в салтыковскую программу-максимум, которую, однако, благодаря общим условиям тогдашней действительности, он лишен был возможности сколько-нибудь последовательно и систематически проводить в своих произведениях. Вот почему, на ряду с программой-максимум, он должен был выработать нечто в роде программы-минимум, которую в своем автобиографическом «Имя-реке» определяет словами: «свобода, развитие и справедливость», поясняя их в дальнейшем таким образом: «свобода—как стихия, в которой предстояло воспитываться человеку; развитие — как неизбежное условие, без которого никакое начинание не может представлять задатков жизненности; справедливость— как мерило в отношениях между людьми, такое мерило, за чертою которого должны умолкнуть все дальнейшие притязания»... Хотя эту программу нельзя не признать в достаточной степени скромной, а главное абстрактной и в силу своей абстрактности несколько расплывчатой, однако, борьба за нее, которую Салтыков вел и в годы своей чиновничьей службы и тем более в качестве писателя, заставила его взять на свои плечи «бремена неудоносимые». С одной стороны, его часто преследовали мучительные думы о том, что он делает мало, и не то, что надо, с другой — «гнусная рассейская действительность», которую он так беспощадно обличал, не уставала ему весьма ощутительно напоминать, что он — «вредный, вредный, вредный» и, как таковой, должен ожидать различных «скорпионов». Нельзя не признать, что Салтыков на своем веку изведал их немало. И с необычайной скоропалительностью осуществившаяся ссылка его в Вятку, и окончательная отставка со службы по личному желанию царя, и бесчисленное множество уколов, то мелких, то довольно-таки чувствительных со стороны цензуры, уколов, происходивших в атмосфере почти не прекращавшихся слухов о грозящих ему обысках, административных высылках, и в особенности запрещение «Отеч. Записок»,—без сомнения, самый тяжкий из ударов, обрушившихся на голову Салтыкова в течение его жизни, — разве это, в своей совокупности, не свидетельствует, как дорого далось Салтыкову его общественно-литературное служение?

Удивляться этому не приходится! Ни в чьих, конечно, произведениях не были заклеймены более беспощадно властные хозяева исторической сцены эпохи 60-х — 80-х годов, — бюрократия, дворянство и нарождающаяся буржуазия, — чем в произведениях Салтыкова. Не было среди его современников писателя, который с бо́льшей бы энергией, пользуясь грозным оружием смеха, умел давать отпор тем диким и безудержным реакционным шквалам, которыми так богата история русской общественности за вторую половину XIX века. Немногие из наших общепризнанных народолюбцев превосходят его проникновенно-любовным отношением к мужику, неизбывное трудолюбие которого, на ряду с безмерной угнетенностью, он воплотил в образе «Коняги», окруженного сонмищем тунеядствующих «Пустоплясов», при чем это проникновенно-любовное отношение, к великой чести Салтыкова, умевшего итти своею дорогою, хотя бы она расходилась с путями большинства, абсолютно лишено ложной идеализации, сентиментального любования.

Целью высказанных, по необходимости кратких, замечаний было дать общую характеристику Салтыкова, как писателя-гражданина. Обойтись без этой характеристики в работе, в части, посвященной изображению той борьбы, которую вело с ним цензурное ведомство, — мне казалось решительно невозможно, потому что цензурные аргусы видели, прежде всего, в Салтыкове писателя известного общественного устремления, и это устремление определило их отношение к его писаниям. Следя за той, из года в год усиливавшейся, травлей, которой подвергался с их стороны великий сатирик, мы не только вписываем не лишенную значения страницу в его биографию, не только проливаем свет на ту атмосферу, в которой протекало его общественно-литературное служение, но и подводим итог тому, как оценивали его деятельность во враждебном ему лагере те, кто свою главную обязанность видели в ограждении читательской массы от проникновения в нее идей, признаваемых предосудительными с точки зрения тогдашнего государственного и общественного порядка. Подведение такого итога даст возможность судить о тех именно сторонах общественного миросозерцания Салтыкова, которые возбуждали наибольшие опасения среди чиновных «охранителей». Здесь не лишнее будет упомянуть о тенденции, нашедшей себе отражение в целом ряде историко-литературных работ, — представлять

деятелей цензурного ведомства чуть ли не абсолютно неспособными разбираться в том литературном материале, который им приходилось рецензировать, иногда даже до смешного тупыми и глупыми. С именами целого ряда цензоров, особенно с именами Бирукова, Красовского, отчасти Фрейганга, повелось соединять ряд более или менее комических подвигов, в которых нашла себе отражение и их сугубая ревность в борьбе с потрясателями основ и крайняя степень тупоумия и глупости. Тенденция эта кажется мне не совсем правильной, поскольку речь идет о той отдаленной эпохе, в которую действовали названные цензоры и их сотоварищи, и вовсе уже неправильной, если говорить о последующем периоде, ознаменовавшемся ограничением пределов действия предварительной цензуры и переходом к системе административных репрессий, периоде, начало которого нужно считать с введения в жизнь нового закона о печати, т. е. с осени 1865 г. И в этот период, конечно, не перевелись в практике цензурного ведомства факты, сбивавшиеся, иной раз, на смехотворный анекдот; и в этот период среди цензоров, иной раз, появлялись настоящие монстры, но, вообще говоря, и практика цензурных органов и большинство их деятелей подверглись процессу «европеизации». Во всяком случае, цензоры последних четырех десятилетий XIX века, среди которых мы, время-от-времени, видим писателей со всероссийскими именами, каковы Гончаров, Тютчев, Майков, Полонский, в значительной своей части, были людьми с образованием, достаточно компетентными, если не для того, чтобы правильно судить о достоинствах того или другого литературного произведения в целом, то для того, чтобы более или менее верно определять его общественную тенденцию. Сказанное отнюдь не должно понимать в том смысле, что моральный уровень цензурных чинов повысился. Служба в царской цензуре, по самому существу своему, — неопрятная служба, ибо в условиях тогдашней действительности цензор непременно должен был быть охранителем, должен был выработать в себе уменье «читать в сердцах», что во многих отношениях сближало его с сотрудниками того учреждения, которое в просторечьи называлось «охранкой». Понятно, что сколько-нибудь высокий моральный уровень и служба в цензуре обычно являлись вещами друг с другом несовместимыми. И действительно, автор настоящих строк, имевший случай ознакомиться со многими

десятками цензурных дел как-раз периода с 60-х годов по 90-ые годы включительно, должен констатировать, что в них, на ряду с угодничеством цензоров перед высшим начальством и готовностью их ослаблять или увеличивать свое рвение в борьбе с «неблагонамеренными писателями» и изданиями сообразно с настроениями «сфер», ярко запечатлелись крайняя их придирчивость в связи с тенденцией уловлять «предосудительный смысл», постоянная склонность, в случае возможности двойственного толкования, предпочитать толкование не в пользу литературного произведения, умение досаждать определенным лицам и изданиям с помощью бесчисленного множества мелких уколов и т. д. И все это, само собой разумеется, на основе полного неуважения к литературе и журналистике, в которых цензора видели, за некоторыми исключениями, враждебную, оппозиционную силу. . . Иногда, конечно, среди деятелей цензуры появлялись люди более либерально и благожелательно настроенные, но их положение было очень трудное, и им редко удавалось долго продержаться на службе. Общеизвестны факты увольнения либеральных цензоров, в роде Крузе, Бекетова и некоторых других. Даже Гончаров, этот заядлый противник нигилизма, ожесточенный гонитель «Русского Слова» и Писарева, даже он, совмещая обязанности цензора с писательством, связывавшим его с литературой вообще, чувствовал себя не в своей тарелке и, выслужив генеральский чин и пенсию, поспешил уйти в отставку. Таким образом, Салтыкову, как активному деятелю современной литературы, как редактору наиболее авторитетного и популярного из передовых журналов той эпохи, пришлось столкнуться, в лице цензуры, с противником не только страшным своею враждебностью и неразборчивостью в средствах, но и не так уж плохо вооруженным интеллектуально, во всяком случае, отлично набившим себе руку по части проникновения в авторские намерения, хотя бы затушеванные при помощи эзоповских языка и приемов, в целях выявления «неблагонамеренных» мыслей и «предосудительных» идей. Борьба Салтыкова с этим противником в 70-ые и 80-ые годы приобретает, поистине, повседневный характер, служа в то же время источником мучительнейших душевных переживаний; временами она заставляет сатирика изощряться во всевозможных эзопизмах, временами, как это ни грустно, накладывает на его уста в отношении некоторых

тем и вопросов печать молчания и тем самым уродует, а иногда и вовсе обрывает процесс его творческой работы.

II.

В 1868 — 1869 гг., начиная свое сотрудничество в «Отеч. Зап.», Салтыков печатал в них, главным образом, свои «Признаки времени» и «Письма из провинции», к которым надо отнести и такие рассказы, как «Новый Нарцисс или влюбленный в себя» и «Легковесные», печатал если не из книжки в книжку, то, во всяком случае, на страницах половины всех вышедших в эти годы книжек, а именно: в №№ 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 и 11 за 1868 г. и в №№ 1, 3, 8 и 11 за 1869 г. В «Признаках времени» в ряде картин, изображающих земство, печать, общественное мнение, экономические отношения, представлено торжество грубой силы, ловкости и хитрости, одним словом тех свойств, которые воплотились в типе «хищника», т. е. дельца капиталиста, над самостоятельной инициативой и свободной мыслью. «Письма из провинции», — ряд публицистических статей, — представляют интереснейший итог наблюдений Салтыкова над провинциальной жизнью за время с 1865 г. по 1868 гг., т. е. за период его временного отхода от литературы и интенсивной служебной деятельности. Прав современный критик (А. А. Гизетти), указывая, что по этим скромным по форме, почти лишенным сатирической соли и нередко забываемым в ряду других более блестящих произведений Щедрина, очеркам «можно восстановить социологический тип провинциальной жизни 60 — 70-х годов и даже жизни русской провинции вообще за вторую половину XIX в.», в частности понять и объяснить появление «чудес», подобных деятельности «помпадуров и ташкентцев».

Несмотря на то, что, таким образом, темы и «Признаков времени» и «Писем из провинции» не выходили почти из круга явлений и типов провинциальной жизни, цензура уделила им значительное внимание. Первым возбудил вопрос о них не кто иной как член главного управления по делам печати Феофил Матвеевич Толстой, совмещавший службу в цензурном ведомстве с беллетристическими потугами и сотрудничеством в «Голосе» по отделу музыкальной критики. Его роль в отношении «Отеч. Зап.», как это выяснено в моей статье «Из цензурной истории «Отеч. Зап.» 1868 —

1871 гг.» («Русск. Богат.», 1918 г. № 1—3), была весьма своеобразной. С одной стороны, будучи давним знакомым собственника журнала А. А. Краевского и отчасти Н. А. Некрасова, он, по соглашению с ними, осуществлял предварительный просмотр материала, печатаемого в журнале, в целях «дружеского предупреждения» редакции о нежелательности помещения той или другой статьи; с другой, ему, как члену совета главного управления, был поручен «надзор» за журналом, в дополнение к тому надзору, который лежал на обязанности «наблюдающего за журналом» цензора СПБ. цензурного комитета Николая Егоровича Лебедева. Отсюда видно, что положение «бесцензурных» «Отеч. Зап.» было в рассматриваемое время таково, что редакция оказалась вынужденной согласиться на предварительное цензирование каждого номера Ф. М. Толстым, пусть осуществляемое в порядке частного соглашения, но по существу своему все же очень стеснявшее свободу ее действий. Но так как тот же Толстой находил для себя возможным совмещать с негласным предварительным цензированием официальный надзор за журналом, то в результате ему приходилось одной рукой предотвращать возможность помещения в «Отеч. Зап.» «предосудительных» статей, а другой писать донесения по начальству, свидетельствующие о том, что он надзирает и надзирает в достаточной мере строго. Только чиновники эпохи царизма были способны на подобные в корне своем чрезвычайно безнравственные совмещения!.. Так вот этот самый Толстой, любивший иной раз в переписке с журналистами, напр., в письмах к Краевскому, подчеркнуть свою преданность интересам «отечественной печати», в сентябре 1868 г. сделал официальное заявление по поводу № 9 «Отеч. Зап.», в котором обвинял журнал в «тесном» сродстве с «Современником», усматривая его как в «приемах» и складе речи, так и в увлечениях, свойственных «Современнику». «Отрицание авторитетов, — писал Ф. М. Толстой, — преклонение только перед юными, свежими силами молодого поколения и глумление, направленное против лиц, заведывающих администрацией, — вот принципы, начинающие проглядывать в статьях «Отеч. Зап.». Из дальнейшего явствовало, что главный материал для подобного рода выводов, сразу устанавливавших для журнала репутацию «крайней неблагонамеренности» (какое «сродство», с точки зрения цензуры, могло быть хуже сродства с «Современником»!..), дал

Ф. М. Толстому Щедрин, как автор очерка «Легковесные» (из цикла «Признаки времени») и «Писем из провинции».

«В статье «Легковесные», — заявлял Толстой, — автор, с свойственною ему исключительною, довольно туманною, но резкою речью, утверждает, что было время, когда в нашем обществе большую роль играли к а п л у н ы м ы с л и (стр. 254), которых ныне заменили легковесные люди (стр. 290).

Каплуны,—говорит автор,—размазывали фразисто и угнетали с помощью многоэтажных периодов; а теперь мы слышим — легковесно срываются восклицания: поддавай! натягивай! подбирай! и проч. (стр. 298)...

Все проходит, все изменяется,—продолжает автор,—были идеи, — они переродились в слова; были слова — они сменились бессвязным, любострастным стенанием: увы! нам уж не до идей. Теперь легковесные — властители наших дум. И тут уж нечего ждать ни суда, ни разбирательства: всякая мысль, каково бы ни было ее содержание, одинаково противна золотнику (т.-е. легковесному) уж по тому одному, что она мысль, а не похоть или вожделение...

Автор не может оговориться тем, что сатира его бьет на пустоголовых «коптителей неба», потому что изображенному им типу «легковесных» он приписывает громадное влияние не только на современный общественный строй, но и на будущность государственного нашего благосостояния.

В «Письмах из провинции», подписанных «Гуриным», но очевидно принадлежащих тому же перу, т.-е. перу Щедрина», — слышно то же глумление над провинциальными администраторами и подведомственными им деятелями; первых он называет почему-то историографами; а вторых — фофанами.

Вот в каких чертах он описывает фофанов (стр. 102): «Прежде всего перед нами обнаружится совершенная неспособность фофанов к какой бы ни было производительности, исключая унаваживания полей; потом обнаружится, что при всей неспособности и непроизводительности фофаны в высокой степени прозорливы и не прочь погулять в златотканных одеждах, что обходится обществу довольно дорого», и проч. и проч.

Историографов же автор описывает на манер, как Тургенев описывает молодых генералов в повести «Дым»:

Все они непременно пустозвоны, лепечут по-французски, с восторгом отзываются о камелиях и о французских излеровских певицах, — а между тем эти деятели, по словам автора, самовластно распоряжаются в провинции. «Предположим,—говорит автор,—что какой-нибудь остервенившийся историограф второй или третьей руки все совершил, что совершить ему надлежало, т.-е. нигилистов истребил, коммунистов разорил, демократов разгромил, науку упразднил, а Поль де-Кока водворил» (стр. 103). Засим описывается, как историограф администратор, окруженный своими сподвижниками, бонвиванами поль-де-коковского закала, сидит и ведет благодушную беседу о том, как отвратительно жить в России, как развратен русский народ, и как должно быть теперь привольно там, в Петербурге, на меблирашках и проч. и проч.

Все это высказывается иносказательно, в каком-то тумане, с такими приемами, к которым прибегал «Современник» до 1865 г., но с очевидною целью беспощадной сатиры и презрительного глумления над провинциальной администрацией».

В заключительной части своего заявления Толстой предлагал «на этот раз ограничиться словесным внушением ответственному редактору, с объяснением ему вышесказанных соображений» и, вспомнив, очевидно, о своих «дружеских», хотя и частных сношениях с редакцией журнала, заканчивал донесение словами: «Зная по опыту, как внимательны гг. Краевский и Некрасов к делаемым им указаниям наблюдающим членом — я убежден, что означенное внушение принесет желаемый плод и удержит редакцию «Отечественных Записок» от дальнейших уклонений».

Однако, «дальнейшие уклонения» продолжались и чаще, чем с чьим-либо другим именем из числа сотрудников «Отеч. Зап.», были связаны с именем Салтыкова-Щедрина. Вслед за «наблюдающим членом» совета главного управления не без влияния поданного им примера, ибо, согласно чиновничьим нравам, пример «старших» обычно являлся достойным подражания для «младших», на Салтыкова обрушился цензор Н. Е. Лебедев. В сделанной им заявке об январском номере «Отеч. Зап.» за 1869 г., на ряду с поэмой Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», статьей Елисеева «Когда благоденствовал русский мужик, и когда начались его бедствия?», уделено видное место и «Истории одного города» Салтыкова.

«В означенном сатирическом очерке, — писал цензор, — предается осмеянию провинциальная администрация; выставляются напоказ ее промахи, ее слабости, ее неумелость, конечно, в довольно общих формах и изображениях, так что трудно приписать ее к какой-нибудь известной местности. Для непосвященного в тайны автора читателя многое остается в означенном очерке совершенно непонятным, темным и даже бессмысленным. Прием сказочного описания еще менее дает основания к судебному преследованию автора за намерение оскорбить власть и ее представителей; но нельзя не обратить внимания на окончание очерка, в котором автор уже положительно глумится над властью в предлагаемом им проекте учреждения для градоначальников особого воспитательного института, носящего на себе характер шутовского заведения, из которого, конечно, и могут только выйти шуты (стр. 318, от слов: следовательно, необходимость и польза градоначальнического единомыслия необходимы — до конца страницы 320). Такое приложение сатиры автора к настоящему положению вещей, а не к прошедшему времени; к тем властям, которые в данное время находятся во главе губернской администрации, и признание их поголовно ни к чему не способными не может быть оставлено без внимания со стороны цензуры».

Хотя тон цензорского отзыва был весьма неблагосклонным, однако, далее заявки в цензурном комитете дело не пошло.

Осенью 1869 г. Ф. М. Толстой предпринял против Салтыкова новую атаку. Продолжая настаивать, что «отличительным признаком присущего в настоящее время «Отеч. Зап.» направления» является «упорное порицание всего, что делается в России, какое-то злорадство при указании на происхождение неурядицы и отъявленный космополитизм», Толстой, в подтверждение своего взгляда, опять-таки ссылался, главным образом, на Щедрина, в данном случае на его рассказ «Испорченные дети», [1] помещенный в № 9.

«В рассказе этом,—указывал Толстой,—находится образчик сочинения 10-летнего Васи, озаглавленный «Добрый патриот». Автор повествует, что у одной старой слепенькой кротихи родился маленький кротик, который был большой шалун, потому что очень часто выбегал из своей норы. Однажды кротик напугал кротиху, оставаясь долго в отлучке.

[1] Этот рассказ не вошел в собрание сочинений Салтыкова.

«Но зачем ты, друг мой, выбегаешь из нашей норы? — упрекнула его слепенькая кротиха.

«Да мне, маменька, здесь скучно.

«Но отчего же тебе, глупенький, скучно?

«Да тут у нас, маменька, и сыро, и тесно, и темно, а там, наверху, аленькие цветочки цветут, пестренькие птички поют и светит ясное солнышко.

«А-а-ах! глупенький ты — да знаешь ли, что эту сырую и темную нору ты должен любить больше всего на свете!

«Да почему же — маменька?».

Автор делает от себя педагогическую отметку: «мысль недурна, но выражена кратко и потому на будущее время надо стараться быть более обстоятельным». (стр. 310).

«Обстоятельность эта далеко может повести. В этом же рассказе описывается, как некто Туманов попал сначала в разбойничьи атаманы, а из атаманов прямо в губернаторы, и тут же иносказательно описывается происхождение учреждения жандармов в провинциях под названием «откровенных ребят». Все это не имеет, конечно, большого значения, но сильно напоминает междустрочную литературу 60-х годов».

По мнению Толстого, рассказ Щедрина и анонимная статья сентябрьской книжки «О направлении в литературе», хотя и «не подают достаточных доводов к судебному преследованию», но должны быть «приняты к сведению, как крупный материал, для определения неодобрительного направления» «Отеч. Зап.».

Вслед за Толстым и Лебедев вторично поднял вопрос о Салтыкове по поводу помещенного в № 11 «Письма из провинции».

«Статья эта, — читаем в его донесении, — подобно всем произведениям Щедрина, носит на себе характер тенденциозности или пасквиля на какое-нибудь лицо, замаскированное особенным прозвищем; так здесь упоминается о провинциальных историографах, под именем которых разумеются высокопоставленные лица в губернии и сколько можно догадываться губернаторы. В означенном письме историограф описан пошляком, пустозвоном, не понимающим ни жизни, ни экономических отношений описываемого края, ни средств его жителей. Город представлен с самой пессимистической стороны; жители нищими, крестьяне не в состоянии нести лежащие на них повинности и голодающими вследствие того, что

все, что в нем имеется лучшего, отправляется на удовлетворение Петербурга и Москвы. И все это изложено в едких, резких и желчных выражениях, способных в читателе возбудить негодование к лицам, допускающим существование такой крайности в России».

Донесение цензора, подобно заявке Толстого, заканчивалось указанием на трудность возбуждения судебного преследования, с одной стороны, и на несомненно «вредное и неблагонамеренное направление» «Отеч. Зап.», с другой. Впрочем, этот вывод делался по совокупности помещенных в ноябрьской книжке статей, а не на основании одной только статьи Щедрина.

Обеспокоенное совпадавшими в своей отрицательной оценке направления «Отеч. Зап.» донесениями Ф. М. Толстого и цензора Лебедева главное управление потребовало от цензурного комитета подробных сведений о направлении журнала с момента перехода его в руки новой редакции. Во исполнение этого требования цензором Лебедевым была составлена, а цензурным комитетом заслушана и одобрена докладная записка, в которой в перечень семнадцати предосудительных статей вошло и три произведения Щедрина «Старая помпадурша» (1868 г., № 11), «История одного города» (1869 г., № 1) и «Уличная философия» [1] (1869 г., № 6).

Записка эта не могла вызвать непосредственных репрессий против журнала, т. к. подводила лишь итог тому, что имело за собой давность от нескольких месяцев до двух лет. Налагать же какие-либо меры взыскания задним числом, карать за то, что было и прошло, не вызвав определенных последствий, цензурное ведомство, конечно, не могло. Тем не менее, не будет преувеличением сказать, что репутация «Отеч. Зап.» новой редакции к концу 1869 г. в глазах цензурных инстанций была раз навсегда погублена благодаря усилиям Ф. М. Толстого и Н. Е. Лебедева. При этом необходимо иметь в виду, что приведенные выше указания на донесения и заявки цензурных чинов далеко не являются исчерпывающими потому, что они извлечены из документов, находящихся в архивных делах. Ведь в документы эти попа-

[1] В этой неподписанной статье Салтыков дал обстоятельный анализ пятой части романа Гончарова «Обрыв» в связи с нападками автора на «нигилистов».

дало далеко не все; не малое количество цензурных инцидентов, иногда довольно значительных, разрешалось путем устных переговоров. Вот яркое тому подтверждение. Ф. М. Толстой в своем отзыве о вышеупомянутой докладной записке Лебедева, совершенно соглашаясь с ее основной неблагоприятной для «Отеч. Зап.» тенденцией, но в то же время желая несколько смягчить ее впечатление, отмечал «замечательную уступчивость и сговорчивость» редакции в отношении изъятий, на которых настаивали он или цензурный комитет. «Так, например, — продолжал он, — она исключила целую статью, приготовленную для № 11 (продолжение «Ташкентцев»),[1] а в № 12 сделала исключение и перепечатала вновь определенные листы»... Отсюда вывод, что самая тяжкая из цензурных кар, постигших Щедрина, исключение целой статьи в ноябре 1869 г., прошла бы совершенно незаметно, не оставив в официальных документах следа, в виде особого донесения, заявки и т. п., если бы Ф. М. Толстой не сделал о ней совершенно случайного упоминания в своем отзыве.

Как бы то ни было, повторяем, к концу 1869 г. на «Отеч. Зап.» в цензурных сферах сложился уже в достаточной степени отрицательный взгляд. Чтобы хоть несколько гарантировать себя от возможных тяжелых последствий этого последнего, редакция должна была в широких размерах прибегнуть к старому столько раз с успехом еще во времена «Современника» испытанному способу: смягчению охранительного рвения цензурных чиновников путем поддержания личных отношений с ними. В указанной уже моей статье «Из цензурной истории «Отеч. Зап.» приводятся данные, характеризующие различные приемы, к которым нередко обращалась в этих целях редакция. Сюда относятся и устройство лукулловских трапез для цензоров, и проигрыш им денег в карты, и присылка им свеже настрелянной дичи и т. д. и т. п. Главная роль при осуществлении всех этих, если так можно выразиться, «профилактических мер» падала на долю Н. А. Некрасова, наиболее опытного в сношениях с «нужными людьми», но некоторую долю участия приходилось принимать и Салтыкову, ex officio —в силу его при-

[1] Из этих слов Ф. М. Толстого вытекает, что продолжение «Ташкентцев» было предназначено для № 11 за 1869 год. Напечатан же этот очерк был годом позже в № 11 за 1870 г.

надлежности к составу редакции. При общеизвестных прямоте, резкости, раздражительности Салтыкова это участие давалось ему нелегко, тем более, что он не мог не сознавать некоторой нравственной нечистоплотности подобного образа действий и шел на него только под давлением горькой необходимости. Не лишенный интереса и яркости рассказ о том, как вел себя Салтыков на одном из обедов, устроенных для умилостивления цензурных аргусов, оставил П. М. Ковалевский:

«Как-то я, ничего не подозревая, пришел к Некрасову в послеобеденный час. Со стола еще только убирали. Было это уже по запрещении «Современника», когда Некрасов вместе с Салтыковым редактировали «Отеч. Записки», откупаясь от Краевского его подписью на задней обертке журнала, за которую он получал от них не менее ста рублей с буквы каждый месяц. И каково же было мое удивление при виде следующей картины: маленький Фукс — тот самый Фукс, которого Салтыков, в качестве Щедрина, печатно называл Фуксенком, да еще с эпитетом «поганого», [1] — закуривает сигару о сигару Михаила Евграфовича, уста в уста, и Михаил Евграфович хоть мрачно, но поддается этому Иудину лобзанию сигар.

— Прикармливаем зверя, — объяснил мне Некрасов, — приставлен ходить за нами...

Салтыков злобно взглянул на меня и так мотнул шеей, как даже он обыкновенно не мотал. Его совсем перевернуло.

Я не мог удержаться от улыбки.

— А вы уже и рады! — брякнул он, по его мнению тихонько, но так, что всем было слышно».

III.

Трудно сказать, под влиянием ли «прикармливания зверей», под влиянием ли других каких-либо обстоятельств, но 1870 год в цензурном отношении прошел для «Отеч. Зап.» более или менее, а для Салтыкова вполне благополучно,

[1] Виктор Яковлевич Фукс (ум. 1891 г.) — с 1865 г. по 1877 г. был членом совета гл. упр. по делам печати. В 1864 г. на стр. [«романса», «На заре ты ее не буди!» («Совр.», № 3) Салтыков, действительно, назвал его «поганым Фуксенком», но впоследствии в отдельном издании «Помпадуров и помпадурш», вместо «поганого Фуксенка», появляется уже «князек Соломенные Ножки».

хотя его произведения попрежнему в большом количестве появлялись на страницах журнала (в №№ 1, 2, 3, 4 и 9 печаталась «История одного города», в №№ 3, 4 и 9 — «Письма из провинции», в № 11—«Митрофаны. Продолжение Господ Ташкентцев»).

Зато 1871 г. сложился для «Отеч. Зап.» несравненно менее благоприятно: по поводу статьи «Фердинанд Лассаль» (в № 2) журналу было предъявлено цензурой обвинение в «прямом возбуждении одного сословия, рабочего, против другого, имущественного», в «явном сочувствии агитатору», и самая статья исключена; по поводу статьи «Германия» (в № 5) «Отеч. Зап.» инкриминировался сочувственный отзыв о Бебеле, «известном социальном демократе»; на статью «Очерки французской журналистики» (в № 8) обратило внимание столь «высокое» учреждение, как III Отделение, усматривая в ней «восхваление известных революционных деятелей Демулена, Робеспьера и Дантона и оправдание ужасов великой французской революции», и цензору Лебедеву, пропустившему эту статью, по распоряжению министра, было сделано строгое замечание. Все эти страхи охранителей и вызванные ими последствия должны быть поставлены в связь с результатами судебного следствия по нечаевскому делу и, конечно, с началом самого нечаевского процесса, вызвавшего усиление реакционных настроений в правительственных сферах, а следовательно и в цензурных инстанциях.

Нечаевское дело началось 1 июля и закончилось 27 августа; III отделение предъявило свои обвинения по поводу именно августовской книжки журнала; в августе же председатель цензурного комитета А. Г. Петров в личном письме на имя начальника главного управления Шидловского поднял вопрос о пятом очерке цикла «Итоги», уже напечатанном в № 8 журнала. Высказывая совершенно правильное предположение, что очерк этот принадлежит Щедрину, Петров обращал внимание своего шефа на то, что автор «настоящими анархистами» считает «консерваторов», т.-е. людей, «отдающих общество в жертву всевозможным колебаниям и страхам», а «реформы настоящего царствования» называет «консервативным либерализмом». О развязке данного цензурного инцидента, мы узнаем из письма Салтыкова к А. М. Жемчужникову от 31 августа («Русская Мысль», 1913 г., № 4). «Я в августовской книжке поместил, — пишет здесь Салтыков, — статью, совершенно спокойную по тону, в которой

доказывал, что слово «анархия» употребляется в ненадлежащем смысле...—и должен был эту статью вырезать в виду угроз для журнала. Личная вражда против меня Шидловского, начавшаяся в Туле (где он был губернатором, а я управляющим казенной палатой), продолжается и теперь, так что я не знаю, можно ли мне будет «оставаться при литературной профессии»...

Двумя месяцами позже, цензор Лебедев, все еще находясь под впечатлением сделанного ему замечания, не без тайной, надо думать, мысли о скорейшей реабилитации себя в глазах начальства, представил в цензурный комитет доклад о № 10 «Отеч. Зап.», в котором признавал предосудительными шесть статей, в том числе и статью М. М. «Самодовольная современность». Эта статья написана была Салтыковым (впоследствии она вошла в «Признаки времени»), но Салтыков предпочел не подписывать ее своим именем, точно так же как не подписал статьи в № 9 о нечаевском деле. Наличность многих принадлежащих Салтыкову, но неподписанных им статей и рецензий в «Отеч. Зап.» 1868 — 1884 гг. — несомненна; не всегда только возможно точно установить его авторство. Собственно подписанных статей Салтыкова в «Отеч. Зап.» за 1871 г. было сравнительно немного («Единственный» в № 1, «Сомневающийся» в № 5 и «Ташкентцы приготовительного класса» в №№ 9 и 10), но если прибавить сюда неподписанные («Итоги», напр., печатались в №№ 1—4), то мы в праве будем констатировать, что интенсивность его сотрудничества, по сравнению с прошлым годом, почти не ослабела.

Возвратимся, однако, к отзыву Лебедева о «Самодовольной современности». Он гласил:

«Означенная статья полна самых недвусмысленных инсинуаций на современное общественное положение России...

Объясняя в начале статьи, что он разумеет под именем ограниченных людей, автор постепенно проводит читателя чрез разные фазисы общественной деятельности до той эпохи, когда ограниченные люди становятся господствующими лицами в обществе и ведут к полной реакции. Так случается, что после энергичной деятельности общества, направленной к пересозданию самых существенных основ, большинство людей, состоящее из посредственностей, испугавшись и движения в обществе и не совсем удавшихся реформ, старается, по словам автора, успокоиться, ибо спокойное суще-

ствование всегда прельщает больше, нежели существование, обставленное всевозможными треволнениями. В такие исторические минуты всякая пошлость и ограниченность становятся в государстве господствующим большинством и преследуют тех, которые, не довольствуясь этим положением, ищут в жизни деятельности и движения вперед. Непосредственный результат господства ограниченности выражается прежде всего в общей тишине, т.-е. в мертвенности, среди которой люди стараются пугать друг друга вымышленными опасностями.

Но такое общество, по замечанию автора, отказавшись от всяких широких вопросов жизни, становится обществом одичалым и вследствие этого делается обществом бессильным, как по внутреннему состоянию, так и по внешним отношениям, ибо тишина не есть еще порядок и не составляет общего благоденствия. В таких странах, в которых реакция в полном ходу, где самодовольная ограниченность только себя признает мудростью, остается простор лишь одной распущенности нравов, ибо там, где общественные интересы отданы под охрану ограниченности, только наслаждения низменного свойства могут иметь место».

Донесение Лебедева об октябрьской книжке едва не имело своим следствием объявление «Отеч. Зап.» предостережения. Уже заготовлена была письменная мотивировка его, в которую, между прочим, входило и упоминание о статье Салтыкова, но по причинам, оставшимся для меня, за отсутствием соответствующих указаний в использованных мною источниках, не выясненными, предостережение не состоялось. Быть может, здесь оказали свое воздействие связи Некрасова в сановно-бюрократических и аристократических кругах, с представителями которых поэт постоянно встречался и в английском клубе и на великосветских охотах в окрестностях Петербурга.

В том же октябре 1871 г., III отделение вторично подняло вопрос об «Отеч. Зап.». На этот раз речь шла о напечатанных в сентябрьском номере статьях Салтыкова («Так называемое нечаевское дело») и Михайловского («Литературные заметки»), представляющих собою непосредственный отклик на «нечаевское дело». Особенно негодовало III отделение на статью Михайловского, касавшуюся вопросов принципиального характера; в отношении же статьи Салтыкова должно было ограничиться лишь указанием, что во вступлении ее

«не без иронии говорится, что наша литература отзывами своими о нечаевском деле вполне доказала свое единодушие и благонадежность»... Особого криминала из этих слов, конечно, нельзя было сделать, но все же самый факт привлечения внимания к статьям Салтыкова такого учреждения, как III отделение, следует признать знаменательным и симптоматичным, тем более, что записка III отделения об этих статьях была доложена Александру II и вызвала с его стороны резолюцию: «обратить на это внимание министра внутренних дел», что было равносильно упреку в недостаточно внимательном отношении министра и подведомственных ему цензурных инстанций к их прямым обязанностям.

Все эти факты дают достаточно яркую картину того отношения, которое установилось в цензурном ведомстве в первые годы издания «Отеч. Зап.» под новой редакцией к писаниям Салтыкова. Хотя последние ни разу еще не вызвали применения репрессивных мер, но чрезвычайно пристальное внимание, проявленное к ним цензурными чинами, не предвещало ничего доброго. Есть серьезные основания предполагать, что п е р в о е предостережение, объявленное «Отеч. Зап.» в июле 1872 г., было вызвано, в значительной степени, статьею Салтыкова, хотя в официальном тексте предостережения, в качестве единственного мотива этого последнего, была указана статья Демерта «Наши общественные дела». В этой статье, конечно, достаточно явственно сказалось отрицательное отношение к той ультра-реакционной реформе среднего образования, которую с неукротимой энергией проводил министр народного просвещения гр. Д. А. Толстой, но в общем статья была написана очень сдержанно и значительно уступала в резкости аналогичным статьям в других органах печати. Н. С. Курочкин, исполнявший летом 1872 г., за отъездом из Петербурга Некрасова и Салтыкова, редакторские обязанности, был глубоко убежден с самого начала, что статья Демерта послужила в данном случае лишь предлогом (см. его письмо к Некрасову от 26 июля в «Архиве села Карабиха»). Вскоре он получил возможность сообщить Некрасову истинные «причины, обусловившие мотивы предостережения». «Дело вот в чем, — читаем в его письме от 1 августа, — Лонгинов обиделся до бешенства фельетоном Михаила Евграфовича в июньской книжке, т. к. ему почему-то показалось, что под видом Кузьмы Пруткова выведен он самолично».

«Фельетон Михаила Евграфовича», о котором здесь говорится, это — шестая глава «Дневника провинциала», в которой автор, передавая свои впечатления от посещения сборища «пенкоснимателей» (не забудем, что под этим наименованием Салтыков разумел представителей умеренно-либеральной, склонной к оппортунизму, печати, в частности сотрудников «С.-Петербургских Вед.»), говорит, между прочим, что на этом собрании «сообщались по секрету сведения о каких-то кознях, предпринимаемых против каких-то учреждений», в частности о существовании двух проектов: «одного об уничтожении, другого об упразднении».

— Но тайный советник Кузьма Прутков... ужели он допустит до этого?

— Я именно сейчас от него.

— И говорили с ним?

— Да; и он мне сказал прямо: «любезный друг! о том, чтобы устранить оба проекта — не может быть и речи; но, вероятно, с божьей помощью, мне удастся провести проект об упразднении, а «уничтожение» прокатить».

— Но ведь и это будет значительный успех!

— Конечно! Но он прибавил к этому еще следующее: «во всяком случае, мой друг, я тогда только могу ручаться за успех, если пресса наша будет вести себя с особенною сдержанностью». Слово «особенною» старик даже подчеркнул.

Известие это производит в группе общее впечатление.

— И я полагаю, — продолжает все тот же Нескладин, — что нам ничего более не остается, как последовать этому благоразумному совету.

Собеседники несколько минут мнутся, и в комнате слышится какое-то неясное жужжание. Как-будто влетел комар и затянул свою неистово-назойливую проповедь о том, о сем, а больше ни о чем. Наконец, один из собеседников, более решительный, выступает вперед и говорит:

— Я, с своей стороны, полагаю, что нам следует молчать, молчать и молчать!

— Молчать! — восклицают хором прочие.

— Не следует забывать, господа, — вставляет свое слово вдруг появившийся Менандр, — что в нас воплощается либеральное начало России. Следовательно, нам прежде всего надо поберечь самих себя, а потом позаботиться и о том, чтоб у нашего бедного, едва встающего на ноги, общества не отняли и того, что у него уже есть.

— Молчать! молчать и молчать!

— Надобно, наконец, иметь настолько гражданского мужества, чтобы взглянуть действительности прямо в глаза, — продолжает Менандр, — надо понять, что ежели мы будем разбрасываться, как это, к сожалению, до сих пор было, то сам тайный советник Кузьма Прутков окажется вне возможности поддержать нас».

Весьма возможно, что «проект об упразднении», который поддерживает Кузьма Прутков, не что иное как знаменитые временные правила о печати, только что, 7 июня 1872 г., утвержденные государственным советом и давшие министру внутренних дел очень важное право задерживать выход в свет освобожденных от предварительной цензуры книг и изданий и проводить чрез комитет министров постановления об их окончательном запрещении.

Предостережение, хотя бы и первое, являлось само по себе столь неприятным обстоятельством, что редакция журнала должна была проявлять особую бдительность, чтобы уберечь его от новых «знаков внимания» со стороны цензурного ведомства. Это ей, в значительной степени, и удалось в отношении второй половины 1872 г., несмотря на то, что сотрудничество Салтыкова попрежнему было интенсивным («Дневник провинциала» в №№ 1 — 6, 8, 10 — 12; «Ташкентцы» в №№ 1 и 9; «Благонам. речи» — в № 10).

Что касается 1873 г., то в течение него заявки цензоров по поводу отдельных статей были довольно частыми, однако, не влекли за собой репрессивных мер, каковы: предостережения, арест книжек, возбуждение судебного преследования, и только раз коснулись Салтыкова, хотя им в этом году на страницах «Отеч. Зап.» было напечатано немалое количество произведений. В четырех номерах (1, 4, 10 и 12) продолжались «Благонамеренные речи», в двух номерах (2 и 4) продолжался «Дневник провинциала»; в трех (3, 9 и 11) — помпадуровский цикл, а, кроме того, в № 11 — был помещен очерк «Между делом».

Единственным произведением Салтыкова, вызвавшим в этом году цензурный инцидент, был очерк «В больнице для умалишенных» (продолжение «Дневника провинциала»), помещенный в № 2. Председателю цензурного комитета показалось, что в этом очерке Салтыков вывел личность вел. кн. Константина Николаевича. Потребовалось вмешательство

нового начальника главн. упр., чтобы «выпустить книгу» (см. «Воспоминания» Л. Ф. Пантелеева).

Зато 1874 год принес за собой особенно интенсивный натиск цензуры на Салтыкова. В этом году журнал печатал его произведения четырех различных циклов: в №№ 1, 2, 3, 9 и 10 — «Благонамеренные речи», в № 4 — «Зиждитель» (впоследствии вошел в «Помпадуры и помпадурши»), в №№ 9, 10 и 11 — «Экскурсии в область умеренности и аккуратности» и в № 11 — «Между делом».

Первым обратил на себя внимание очерк «помпадуровского» цикла — «Зиждитель», при чем о предосудительности его и еще трех статей апрельского номера «Отеч. Зап.» поднял вопрос не цензурный комитет, а главное управление по делам печати, что уже само по себе являлось весьма неблагоприятным признаком. Отзыв главного управления о «Зиждителе» довольно краток:

«Очерк Н. Щедрина, под заглавием «Зиждитель», — памфлет, направленный на Пензенского губернатора, д. с. с. Татищева. Правда, в очерке губерния не названа, самый уезд Крестецкий, в котором г. Татищев был предводителем дворянства, переименован в Чухломский, но только эти две ширмы и находятся в рассказе; во всем остальном рисуется не тип, а всем известное живое лицо, представленное лишь в умышленно-карикатурном и пошлом виде; так разведение им коров и телят заменено разведением свиней и поросят; далее, все меры его, одобренные правительством, как-то: старание поднять сельское благосостояние, ограничение пьянства и т. п., представлены в смешном и извращенном виде. Такая сатира не должна бы была являться на страницах журнала, уже давно отмеченного по его тенденциозному и предосудительному направлению».

Вместе с отзывами об отдельных статьях апрельской книжки главное управление направило в цензурный комитет ряд директив, имевших целью усугубить его строгость в отношении «Отеч. Зап.», в частности побудить его не слишком стесняться в применении сравнительно еще новой и не успевшей получить широкого распространения меры воздействия на печать — ареста книжек. Цензурный комитет не преминул воспользоваться этими указаниями и заарестовал следующую майскую книжку журнала, в которой содержание целых семи статей признал предосудительным. На этом эпизоде в истории «Отеч. Зап.» мне уже приходилось останавливаться

в печати (см. мою статью в «Книге и Революции», 1921 г., № 12: «Из истории одного цензурного auto da fe»), а потому в настоящем изложении я ограничусь тем, что приведу из обширного донесения цензора только отзыв о девятой главе «Благонамеренных речей»:

«Щедрин, посвящающий свою сатиру в последнее время не на бичевание и осмеяние общественных пороков и недугов, а избравший предметом для нее преимущественно администрацию и в особенности тех лиц, которые на административной лестнице занимают высшие ступени, и в означенном очерке имеет целью представить в самом невыгодном свете действия какого-то губернатора и управляющего Палатою Государственных Имуществ в одной из губерний. Замаскировав звание губернатора прозвищем патриарха, избрав временем действия Крымскую войну 1853 — 1856 гг., Щедрин описывает, как губернатор этот, попав на место по протекции какой-то старушки, выигравшей на пари у министра две губернаторские вакансии, не обладая никакими положительными качествами и быв весьма скромным человеком вначале, вдруг сделался взяточником, когда для этого открылась возможность при происходивших в то время беспрестанных наборах, сборе ополчений и разных поставках для армии; как он соединился для этого с управляющим Палатою, отъявленным плутом и негодяем, и как вдвоем они стали грабить всех и каждого. Рассказ этот, наполненный разными подробностями безобразий, со свойственным перу автора юмором, становится особенно предосудительным по одному месту, где влагается в уста управляющего Палатою известное мнение о самодержавии и республике, приписываемое императору Николаю I, и с нескрываемым сарказмом и иронией доказывается польза для России самодержавия, как самого лучшего образа правления» (стр. 259).

Несомненно, что здесь имеется в виду рассказ Салтыкова, впоследствии названный им «Тяжелый год (за двадцать лет назад)». Он впервые появился в печати в 1876 году на страницах не порвавшего еще тогда с традициями либерализма «Нового Времени» (№№ 112 — 114), а затем вошел в двухтомное издание «Благонамеренных речей», при чем, если сравнить его нынешний текст с тем, который находился в сожженном номере журнала, то окажется, что автору пришлось кое-что изменить и смягчить в его содержании. Так, например, в первоначальной редакции Набрюшников

получает назначение на вакансию, выигранную на пари у министра его высокопоставленной покровительницей; а по общеизвестной редакции назначение дается ему на вакансию, подаренную ей ее «двоюродным братцем» «за любовь». Упоминаемое в цензорском донесении рассуждение о «самодержавии и республике» в новой редакции заменено несравненно более безобидным рассуждением о России и Соединенных Штатах и т. д.

Читатель не посетует, если я познакомлю его с этим замечательным рассуждением в его первоначальном виде, т.-е. таком, в каком оно вылилось из-под пера великого сатирика, пока ему еще не приходилось думать о том, как бы приспособить свой текст к цензурным требованиям.

«Я понимаю одно из двух, — говорил он (Удодов), — или неограниченную монархию, или республику; но никаких других административных сочетаний не признаю. Я не отрицаю: республика — res publica... это действительно... Но для России, по мнению моему, неограниченная монархия полезнее. Что такое неограниченная монархия? Спрашиваю я вас. — Это та же республика, но доведенная до простейшего своего выражения. Это республика, воплощенная в одном лице. А потому ни одно правительство в мире не в состоянии произвести столько добра. Возьмите, например, такое явление как война. Какая страна может сразу выставить такую массу операционного материала? Выставить без шума, без гвалта, без возбуждения распрей? — Конечно, ни одна страна в целом мире, кроме России и... Американских Соединенных Штатов (повторяю: он до того был прозорлив, что уже и в то время провидел «заатлантических друзей»). Итак, дело не в имени, а в результатах»... (далее как в общеизвестном тексте).

Характерно, что цензор данное произведение Щедрина, вместе с рассказом Г. И. Успенского, очерком Михайловского и анонимной статьей о Рабле, признавал «особенно вредным» по своему направлению.

Арест, а затем, согласно постановлению комитета министров, сожжение целого номера были уже настоящей катастрофой, и она сулила тем более неприятные перспективы для журнала, что нажим цензуры на него не прекращался. Для характеристики того, какую цинично-откровенную форму он принял, не лишнее будет привести извлечение из текста лебедевского отзыва об одном из очерков цикла

«Экскурсии в область умеренности и аккуратности», помещенном в № 9 «Отеч. Зап.» 1874 г.

«Повидимому, это воспроизведение Грибоедовского типа Молчалина, перенесенного в социальную сферу, и принадлежит к литературе нравоописательных этюдов. Но читая между строк, по некоторым прозрачным намекам, легко понять, что автор имел в виду изобразить грустные условия современного общественного положения России. Автор рисует эпоху полного затишья в истории человеческой общественности, когда человеку ничего не остается желать, кроме тишины и безвестности, когда здоровая жизнь засыпает, а на ее место вступает в права жизнь призраков, миражей и трепетов, когда лучшие умы обуреваются одним страстным желанием бежать и скрыться. Такое время, по мнению автора, благоприятствует особенно расположению людей самого уродливого сорта, олицетворенного в типе Молчалина; в счастливой и безответственной области умеренности и аккуратности они видят возможность осуществления полного благополучия»...

Настоящее донесение представляется одним из классических примеров цензорской придирчивости. «Экскурсии», собственно говоря, написаны так сдержанно и осторожно, что сформулировать их предосудительность на основе их текста, было нелегко... Цензор, однако, нашел выход. Без всякого стеснения он усвоил себе метод «чтения между строк», метод изобличения автора «по некоторым прозрачным намекам», одним словом метод, осужденный около полустолетия тому назад еще в цензурном уставе 1828 г., где цензорам вменялось в обязанность «в суждениях своих принимать всегда за основание явный смысл речи, не дозволяя себе вольного толкования оной в дурную сторону».

IV.

Обострение цензурных репрессий в 1874 г. нельзя не поставить в связь с развитием народнического движения, которое как-раз летом этого года приняло характер массового «хождения в народ», чрезвычайно встревожившего правительство и вызвавшего с его стороны ряд жестоких, в иных случаях очень слабо мотивированных, репрессий. Согласно

обычной манере реакционеров, к ответу была привлечена и литература, в особенности в лице таких органов, как «Отеч. Зап.», которые вдохновлялись общими идеями с народниками, мало того культивировали эти идеи в сознании читательских масс.

Все это создавало очень тяжелую атмосферу для журнала, в частности, для такого «столпа» его, каким являлся Салтыков. Редакции «Отеч. Зап.» пришлось теперь взвешивать чуть ли не каждое слово, чтобы предотвратить возможность новых «скорпионов». Этой сугубой осторожностью, и также случайным обстоятельством, — смертью очень нерасположенного к «Отеч. Зап.» начальника главного управления по делам печати М. Н. Лонгинова, последовавшей в январе 1875 г., — приходится объяснить то, что этот год в цензурном отношении не был особенно тяжелым. Интенсивность сотрудничества Щедрина и в этом сложившемся для него лично очень неблагополучно году, — в феврале 1875 г. он заболел, в апреле выехал для лечения за границу, где и оставался до мая 1876 г., — была достаточно велика: в шести номерах журнала (№№ 1, 3, 4, 10, 11 и 12) он продолжал печатание «Благонамеренных речей», в двух (№№ 9 и 10) — «Между делом», а в № 8 поместил очерк «Сон в летнюю ночь», вошедший впоследствии в «Сборник». В нашем распоряжении имеются неопровержимые доказательства того, что цензура и в этом году не оставляла Салтыкова в покое. Из писем его к Некрасову, напечатанных в недавно вышедшем интереснейшем собрании его писем («М. Е. Салтыков. Письма. Труды Пушк. Дома». Под редакцией Н. В. Яковлева), явствует, что в средине августа 1875 г. лечившийся тогда в Баден-Бадене Салтыков отправил в редакцию «Отеч. Зап.» четвертый очерк «Экскурсий в область умеренности и аккуратности» для помещения его в сентябрьской книжке. Однако, напечатание «Экскурсий» встретило затруднения со стороны цензуры. Извещенный об этом Некрасовым, Салтыков в письме к нему от 4 сентября выражает свое крайнее огорчение по этому поводу и просит его сделать все возможное, чтобы «спасти» «Экскурсии», хотя бы для одной из последующих книжек этого года. Но «глубокий мерзавец Лебедев» (выражение Салтыкова), очевидно, не шел ни на какие уступки, как это видно из письма Салтыкова к Некрасову от 7 декабря, и четвертый очерк «Экскурсий» был напечатан только осенью следующего года, да и то с довольно

существенными изменениями, сделанными вследствие цензурного нажима самим автором. [1]

Затем, по требованию того же «с..... с... Лебедева» (выражение Салтыкова), были произведены какие-то очень поразившие Салтыкова исключения в тексте рассказа «Непочтительный Коронат» из серии «Благонамеренных речей», помещенного в № 11 «Отеч. Зап.» за 1875 г. (см. письма Салтыкова к Некрасову от 7 и 12 декабря 1875 г.).

Под впечатлением деяний «глубоких мерзавцев» и «с..... с....» из цензурного ведомства, под впечатлением наблюдений над русскими сановниками, проживающими в немецких курортах, которых Салтыков именовал «откормленными идиотами» и «свиньями» (в письме к Некрасову от 6 августа), а особенно под впечатлением приходивших с родины известий об усилении реакционных веяний, о непрекращающихся политических процессах, — Салтыков в одном из писем к Анненкову конца 1875 г. (от 11 ноября) дал яркую характеристику приемов и методов управления современных государственных людей с министром внутренних дел Валуевым во главе. «Вы очень хорошо уразумели, — читаем мы здесь, — современное положение России — именно это недоумение, но с некоторой примесью озорства. Озорство последнее слово этих господ, которые видят, что земля уходит из-под ног; не будучи в силах поворотить дело по-своему, они пакостят, и в этом заключается вся государственная деятельность нашего времени. Валуева, например, нельзя считать вполне жертвой недоразумения; нет, это пакостник и при том очень злостный. И как горько думать, что судьба многих миллионов людей в руках этих паскудных людей, из которых многие даже мысли установить не могут, а многие ежели и устанавливают ее, то не иначе как с целью озорства».

В следующем 1876 году, творческая производительность Салтыкова еще более повысилась: в редкой книжке журнала не появлялось щедринских вещей. Так, в № 1 были напечатаны «Культурные люди», в №№ 3, 4, 5 и 6 заканчивались «Благонамеренные речи», в № 8 был помещен очерк «Выморочный» (из цикла «Головлевы»), в №№ 9 и 10 — «Экскурсии», в № 11 — «День прошел — и слава богу!» (из цикла «В среде умеренности и аккуратности») и, наконец, в № 12 —

[1] Первоначальный вариант был в извлечениях опубликован Н. В. Яковлевым в журнале „Петроград", 1923 г., № 5.

«Семейные радости» (из цикла «Головлевы»). Однако повышение производительности сейчас же вызвало отклик в цензурном ведомстве, усилившем свои атаки против Салтыкова. Особенно серьезно ставился вопрос о «Культурных людях». Основываясь на содержании их и статьи Головачева «Мысли вслух», Лебедев настаивал не более не менее как на аресте январской книжки журнала.

«Означенный сатирический очерк,—писал он о «Культурных людях», — отличается крайней необузданностью языка и предосудительностью содержания и направления. Под именем культурных людей автор разумеет лица, пропитанные духом бюрократизма и всецело преданные идее, во что бы то ни стало, сделать себе бюрократическую карьеру, противопоставляя культурным людям так называемых утробистых людей, преданных исключительно еде и питью, тип которых в настоящее время исчезает и немногочисленные представители которых скрылись из Петербурга в провинцию и за границу. Культурные люди, т.-е. бюрократы, забрали в руки все общество и административные места, не стесняясь никакими средствами для достижения цели; по большей же части такими средствами служат доносы и шпионство (стр. 120, 122, 123), имеющие ныне полный успех, так что всякий остерегается сказать какое-нибудь неосторожное слово, без всякого умысла, чтобы не пострадать от чьего-либо усердия, не подвергнуться истреблению, как выражается автор. Понятие о чести у утробистых людей он ставит гораздо выше нынешних культурных и вообще клеймит беспощадным образом современное общество, в котором желание выслужиться и холопство заглушило все лучшие человеческие инстинкты (стр. 124). Если бы автор своей сатирой бичевал общественные пороки, что весьма естественно составляет назначение сатиры, то в этом нельзя было бы найти ничего предосудительного; но в сатире Щедрина между строк ясно проглядывает желание выставить на позор не одни общественные недостатки, но и тот государственный порядок, который не только делает возможным подобные уродливые явления в общественной жизни, но и потворствует им. Так, например, и в этом очерке олицетворением всего гадкого является какое-то влиятельное в губернии лицо (Солитер) и вообще лица, власть имеющие; шпионство и соглядатайство сделалось, по словам автора, явлением чуть не узаконенным, достигающим всегда полного успеха, так что порядочным людям

осталось одно — бежать из этой душной атмосферы. — Сверх этого неблагонамеренного направления в означенном очерке встречаются отдельные места, отличающиеся крайнею предосудительностью, как, например, на страницах 120, 124 и 127».

Цензурный комитет на основании этого отзыва вознамерился заарестовать «Отеч. Зап.», и только вмешательство нового начальника главного управления, признавшего возможным обойтись без ареста, если редакция сделает исключения в тексте очерка Салтыкова и выкинет всю статью Головачева, спасло январский номер. Это вмешательство было бы неправильно расценивать, как проявление какого-либо благоволения В. В. Григорьева к журналу: дело в том, что, дорожа своими университетскими отношениями (Григорьев занимал кафедру истории востока в С.-Петербургском университете), он в первое время после своего назначения избегал особенно резких конфликтов с влиятельными журналистами. Во всяком случае, спасение номера обошлось не дешево. Что касается изъятий в очерке Щедрина, то сравнение его текста в «Отеч. Зап.» с текстом в издании сочинений позволяет с некоторой (далеко не полной) степенью вероятности установить то, что было изъято. Наиболее важная купюра пала, повидимому, на страницу 127-ую, которую, как и последующую, пришлось перепечатать. В иронически горестном тоне изображая свою неспособность к бюрократической карьере, автор перебирает здесь различные недоступные для него возможности. «Никуда я,—говорит он,—итти не могу. Все, все для меня заперто. По судебной части, я истца от ответчика отличить не могу — чьи же я интересы защищать или опровергать буду? По части народного просвещения я не знаю, кто кого кормил, волчица ли Ромула или Ромул волчицу—как же я на экзаменах баллы ставить буду? . . Дальше шел ряд точек, за которыми скрывался нижеследующий отрывок (цитирую по собранию сочинений): «По части финансов я знаю: дери шибче, а в случае недобора — бесстрашно заключай займы. Что же касается до того, как и на какой бумаге ассигнации печатаются и почему за быстрое отпечатание таковых в экспедиции заготовления государственных бумаг дают награды и ордена, а за отпечатание в Гуслицах на каторгу ссылают — ничего я этого не знаю. Вот разве по сыскной части. . . ну, нет, Солитер! этому пока не бывать. Хотя по этой части и действительно никаких познаний не

требуется, а только культурность одна, да ведь я еще не забыл, что мой прадедушка регентшу Анну Леопольдовну в одной сорочке из опочивальной вынес! Нет, не позабыл! Ибо ежели я самолично ничего не совершил, даже «чистосердечного в том раскаяния не принес», то прадед мой. . .»

Март 1876 г. ознаменовался для Салтыкова волнениями по поводу трудностей, встреченных при напечатании публицистической статьи «Отрезанный ломоть» (эта статья впоследствии была введена Салтыковым в «Недоконченные беседы», составив пятую главу этой серии). Высылая ее Некрасову, он был, повидимому, совершенно за нее спокоен. Тем горше было для него узнать, что цензура воспрепятствовала ее появлению в той книжке, для которой она предназначалась, т.-е. в февральской. «Я никак не воображал, — читаем в его письме Некрасову от 8 марта, — что обругание Гамбетты может встретить цензурные препятствия. . . Любопытный образчик писательской деятельности. Вторую статью в течение восьми месяцев не печатают, а в прочих делают вырезки. Можно ли так жить? Я готов на весь мир сослаться, что нельзя». . . Чрезмерно нервный тон этого письма, в особенности заключительных строк, с одной стороны, объясняется, конечно, нудностью цензурных придирок, принявших в 1876 г. хронический характер, с другой, болезненным состоянием самого Салтыкова, преодолевая которое он все-таки продолжал работать. Состояние это в предыдущем (от 3 марта) письме к тому же Некрасову изображено так: «Работа идет туго, ибо я все очень болен. . . Вот третий день как привязался проклятый кашель, всего изнурил, так что шатаюсь. Сверх того, насморк, голова трещит — самые неудобные обстоятельства для писания. Вообще, мне не жить, и я только для очистки совести отбываю время в Ницце. Я похож на тех собак, каких можно видеть в солнечный день в Петербурге на припеке у подъездов. Лежит под лучами солнца, мухи ее облепили, а она и мух не гонит, а только вздрагивает. И я тоже вздрагиваю, а больше ничем о своей жизненности заявить не могу. Худо мне, совсем худо». . .

В июньской книжке «Отеч. Зап.» внимание цензора привлекло с е м ь статей различных авторов, в том числе очерк Щедрина «Привет» («Благонамеренные речи»), в котором содержались новые нападки на «культурных людей», столь раздражавших Салтыкова во время его пребывания

за границей. Так как донесение цензора о «Привете» было составлено в довольно умеренных тонах, то комитет остановился на сравнительно мягкой мере — неофициальном сообщении начальнику главного управления. Однако, подобного рода «сообщения», повторяясь одно за другим, не могли не производить известного впечатления, не могли не настраивать определенным образом. Не без их, надо думать, влияния, отношение В. Григорьева к «Отеч. Зап.» становилось все более и более недоброжелательным. В сентябре 1876 г. Салтыкову суждено было удостовериться в этом лично и при том в довольно неожиданной и крайне неприятной для него форме. Около двух лет тому назад он напечатал первые очерки из серии «Экскурсий в область умеренности и аккуратности», при чем они сразу же возбудили неудовольствие цензурного комитета. Этим, вероятно, и объясняется, что продолжение «Экскурсий» было отложено Салтыковым. Теперь же он решил возобновить их печатание, но предварительно вознамерился переговорить о них с Григорьевым, у которого, кстати сказать, еще не был, т. к. большую часть 1875 г. и всю почти первую половину 1876 г. провел за границей. Об обстоятельствах, предшествовавших его свиданию с Григорьевым, и о самом свидании он подробно говорит в одном из своих писем к Некрасову (в письме от 3 сентября; впервые опубликовано мною в «Книге и Революции», 1921 г., № 2). Хотя поехать к Григорьеву Салтыкову посоветовал один из благожелательно относившихся к нему цензоров (Ратынский), ручавшийся, что Григорьев «примет его отлично», однако, на этом приеме Салтыкову пришлось испить горькую чашу унижения. «Вот я сегодня и поехал, — читаем в его письме к Некрасову. — Ждал от часу до трех— и что же? Принял он меня не только холодно, но почти неприязненно, даже не посадил. Хотел ли он поломаться надо мной, но первым вопросом его было следующее: «Вы в каком журнале участвуете?». Хотя Ратынский и уверял меня, что он уже читал «Экскурсии» в первой редакции, но он и виду не показал, а когда я заикнулся о том, что вот, дескать, цензура встретила год тому назад затруднения, а нынче я переделал, и желал бы, чтобы Ваше Превосходительство удостоили прочесть, то он прямо объявил: «это не мое дело-с, на это есть цензора». Одним словом, свидание вряд ли продолжалось и минуту, но несмотря на это, мне показалось, что на меня целый час плевали». . .

Не будь этого письма, подлинность которого вне всяких сомнений, трудно было бы поверить достоверности изложенных в нем фактов, настолько чудовищно-нелепыми они являются. Не в глухое безвременье николаевского царствования, а в эпоху так называемых великих реформ, в половине 70-х годов так принять первоклассного русского писателя, как принял Григорьев Салтыкова; это, поистине, превосходит всякое вероятие. «Не посадить» Салтыкова — можно ли пойти дальше этого!?.

Как ни мало в характере нового начальника главного управления по делам печати было нравственной чуткости, однако и он скоро должен был понять, что хватил через край. Правда, пришел он к этому сознанию не самостоятельно, а под давлением своих сотоварищей по профессуре в Университете. «Дело о моем свидании с Григорьевым, — читаем в новом письме Салтыкова к Некрасову (от 21 сентября), — разыгрывается несколько странно. В университетском совете ему чуть не сделали скандала, но ограничились тем, что через Градовского потребовали объяснения. Теперь он уверяет, что меня в глаза никогда не видал, и вчера присылает ко мне Ратынского с просьбой приехать в пятницу и удостовериться лично, что он не видал меня. Хотя все это не особенно лестно, тем не менее я решился ехать, и в случае нужды даже подтвердить, что мы в первый раз видимся. Все это словно во сне было».

В письме Елисеева к Некрасову от 27 сентября 1876 г. вкратце сообщается о развязке этой истории: «Вчера видел только Ратынского, он, как и всегда, мил и любезен. Он возил Салтыкова к Григорьеву по поводу известной Вам истории. Григорьев принял его с подобающим почтением и принес всевозможные извинения. Салтыков, видимо, остался доволен приемом. Говорит, по крайней мере, что теперь Григорьев пропустит ему все, что бы он ни написал».

Надежды Салтыкова, само собой разумеется, не могли оправдаться полностью. Но все же в ближайшие после данного инцидента месяцы Григорьев как-будто бы совестился теснить Салтыкова. Цензурный комитет являлся в то время очень чутким барометром начальнических настроений; поэтому и он в отношении Салтыкова несколько умерил свое рвение.

Салтыков не даром тревожился за судьбу «Экскурсий» и даже поехал из-за них к Григорьеву. Содержание их, в осо-

бенности той части, которая была помещена в сентябрьской книжке (это как-раз та статья, которую Салтыков тщетно пытался напечатать осенью 1875 г.) имела слишком непосредственное отношение к деятельности и общественной роли самой цензуры, чтобы не привлечь внимания этой последней.

«Общее содержание означенной сатирической статьи, — писал Лебедев в своем докладе от 18 сентября в цензурный комитет, — заключается в том, чтобы изобразить бессмысленное положение журналиста, который, под влиянием страха перед каким-то пугалом цензурной власти, теряет сознание позволительного и непозволительного, готов на всякое отречение от своих убеждений, на всякое уничижение, на всякую подлость.»

Впрочем это донесение особых последствий не имело, так как комитет, основываясь на том, «что в настоящей статье нет явного порицания правительственных учреждений», ограничился занесением отзыва цензора в журнал «без сообщения главному управлению».

V.

Цензурные мытарства, особенно дававшие себя чувствовать в 1876 г., болезнь Некрасова, вследствие которой бремя забот и хлопот, связанных с редактированием «Отеч. Зап.», двойною тяжестью легло на плечи Салтыкова, собственный недуг, хотя и ослабленный лечением за границей, но далеко еще не ликвидированный и, собственно говоря, и не могущий, по мнению врачей, быть ликвидированным, а превыше всего все более и более выявлявшееся торжество реакции в России страшно нервировали Салтыкова. Не радовали его и внешние дела в связи с подготовлявшейся русско-турецкой войной. О степени его общественного пессимизма очень яркое представление дают нижеследующие строки из письма к Анненкову от 1 ноября 1876 г.: «У нас здесь не то что скучно, а как-то срамно. С одной стороны, Черняев[1] с своими добровольцами разъясняет перед лицом Европы, что такое

[1] В 1876 — 1877 гг. ген. Черняев совершил пресловутую экспедицию в Сербию, о «подвигах» участников которой не мало интересного материала содержится в книге В. Я. Богучарского «Активное народничество», М. 1912 г., стр. 271 — 272. Деяния того же Черняева со сподвижниками в Туркестане в 1867 г. вдохновили Салтыкова на создание «Господ Ташкентцев» (1869 — 1873 гг.).

господа Ташкентцы, с другой стороны, в такие серьезные минуты издается постановление, в силу которого губернаторам предоставляется право писать законы. У меня был изображен Помпадур, имевший страсть к законодательству, и писавший средние законы, между прочим «устав о печении пирогов»... — теперь этот Помпадур будет воспроизведен в самой жизни. Так-то жизнь иногда идет наперебой самой невероятной сатире. Кто мог думать, что я в этом случае буду пророком, — а вот однако ж, вышло, что я все это предвидел и изобразил. Но этого мало: серьезность минуты не мешает вести борьбу с нигилизмом. Политические процессы следуют один за другим,[1] не возбуждая уже ничьего любопытства, и кончаются сплошь каторгою — excusez du peu. Каторга — за имение книги и за недонесение — это уж просто роскошь для такого бедного государства, как наша Русь. Подумайте только, как мало нужны нам люди и как легко выбрасываются за борт молодые силы — и Вы найдете, что тут скрывается некоторый своеобразный трагизм».

Начало 1877 г. открывало еще более мрачные перспективы, хотя творческая производительность Салтыкова была, по-прежнему, очень велика. В этом году он напечатал в № 1 очерк «Дети Москвы», вошедший потом в «Сборник», в №№ 2, 3 и 4— «Современную Идиллию», в №№ 8, 9, 10 и 11 — ряд очерков из серии «В среде умеренности и аккуратности». В февральском письме к Анненкову (от 17 февраля) Салтыкову, под впечатлением суда над участниками известной демонстрации у Казанского Собора (8 декабря 1876 г.), пришлось заговорить о «неистовствах белой анархии, которая, кажется, надолго воцарилась у нас». В связи с этими «неистовствами», он ожидал самого худшего и со стороны цензурного ведомства. И, действительно, из очерка «Дети Москвы» (№ 1) цензура «выдрала 9 стр., т.-е. всю внутренность» (см. письмо к Жемчужникову, от 28-го марта). Еще хуже обернулось дело с рассказом «Чужую беду — руками разведу», предназначенным для № 2, в котором, в связи с мыслями, возбужденными чтением Тургеневской «Нови», он затронул вопрос «об отношениях, в которых мы, люди отживающие, должны находиться к современности» и, в част-

---

[1] 21 сентября — процесс Горбачева; 22-го — Бутовская за передачу рабочему заграничной брошюры была осуждена на каторгу; 19 октября — процесс студента Семяновского и т. д.

ности, говоря проще, к столь характерному для нее революционному движению. В план нашей статьи не входит, в качестве специальной задачи, сколько-нибудь подробное выявление общественных взглядов Салтыкова, однако, содержание названного рассказа, а вместе с тем и содержание очень близких к нему «Дворянских мелодий», представляется столь важным, что несколько слов, посвященных ему, едва ли покажутся излишними. С беспощадной строгостью, несколько напоминающей горькие строфы Некрасовских «Рыцаря на час», «Медвежьей охоты» и «Человека сороковых годов», говорит здесь Салтыков о себе и своем поколении — людях сороковых годов. Взять, хотя бы, эту страшную в своей искренности тираду: «Я принадлежу к поколению, которое воспитывалось на лоне эстетических преданий и материальной обеспеченности. Конечно, и мы не всегда оставались верными чисто эстетическим традициям, но по временам делали набеги на область действительности. . . нет, впрочем, не туда, а скорее в область «униженных и оскорбленных». Но, под прикрытием обеспеченности, эти набеги производились словно во сне, без строгой последовательности, порывами, которые столько же быстро потухали, как и зажигались. Много вышло из этой школы проходимцев и негодяев, но довольно и просто бессильных и неумелых людей. Проходимцы оказались живучими; неумелые, как и следовало ожидать,—вымирают; ибо набеги в область униженных и обиженных, несмотря на свою платоничность, все-таки не прошли для них даром. К числу вымирающих принадлежу и я». . . Итог жизненной деятельности подобных людей «может быть формулирован в следующих немногих словах: ни зла, ни добра». «Нет деятельного добра, но зато нет и деятельного зла — ужели это не странно?! Разумеется, ежели представить себя живущим среди разбойничьего вертепа, то и за эту пустопорожнюю формулу можно ухватиться, как за нечто умиротворяющее встревоженную совесть. . . Но ведь пустопорожнее все-таки останется пустопорожним, как ни обставляй его оправдательными документами. Какое кому дело до вертепов, когда имеется непререкаемый итог, свидетельствующий о бессилии, о бездействии, а пожалуй даже и о безделии?».

Эти качества людей сороковых годов определили собой и их отношение к современности: «Возможно ли, однажды сознав справедливость того или другого явления, не итти

в защиту его? или, сознав несправедливость его, не выступить на бой с ним?» — и, однако, этот путь именно и избрали «отживающие», словно успокоившись «на одном сознании справедливости или несправедливости». Когда им приходится наблюдать «проявления совести, самоотвержения и проч.» со стороны «Дон-Кихотов», они никогда не позволят себе захохотать над ними, они «относятся к ним скорее благосклонно», но, «вопреки симпатиям, не имеют силы примкнуть к ним». А раз не имеют силы примкнуть, то и в оценку этих «фактов самоотвержения» вдаваться не должны. Иначе, пожалуй, вместо действительной драмы, родится нелепый фарс с переодеваниями» (прямой намек на «Новь» Тургенева, вполне согласующийся с тем, что Салтыков высказал по поводу этого произведения в письме к Анненкову от 2 марта). Когда Алексей Степанович Молчалин пришел к автору и его другу Глумову с сообщением об аресте своего сына Павла Алексеевича, то они могли лишь предложить ему стакан воды для успокоения. Еще в более жалком положении оказался автор, когда, по освобождении Павла Алексеевича, он, исполняя просьбу отца, предпринял было попытку «молодого человека уму-разуму наставить». Павел Алексеевич, слушая его, только досадливо «обмахнулся», а сам он почувствовал, что ничего, кроме «брюзжания» и повторений слов сановного бюрократа кн. Тугоуховского и священника отца Николая, у него не выходит. . .

Общественный смысл этого произведения Салтыкова, конечно, несмотря на все недомолвки автора («ведь не мог же я прямо писать, что хотелось» — говорит он в письме к Анненкову от 15 марта) был настолько определенен, что цензура отказалась его пропустить. Сначала Салтыков надеялся (см. письма к Анненкову от 2 и 15 марта), что дело ограничится тем, что рассказ придется «отложить», примерно, до майского номера, но и эта надежда его обманула. Частью рассказа «Чужую беду руками разведу» сатирик воспользовался лишь в конце 1877 г., вставив ее в текст «Дворянских мелодий» (№ 11), а самый рассказ смог напечатать лишь в № 12 «Отеч. Зап.» 1880 г. под заглавием «Чужой толк». В полном виде рассказ был опубликован у Эльпидина в Женеве (2-е изд. 1890 г.).

Не вполне задачливой оказалась и мартовская книжка «Отеч. Зап.», вызвавшая заявку цензора относительно целых

четырех статей, в том числе и второй главы «Современной Идиллии». Результат был таков: две статьи — «Вымирание некультурных рас» Мордовцева и рецензия на книгу «Политическая экономия в рассказах» были исключены вовсе, а «Современная Идиллия» прошла благополучно, несмотря на то, что отзыв цензора о ней был далеко не благоприятен.

Здесь нелишне будет отметить, что к работе над «Современной Идиллией» Салтыков подошел довольно-таки случайно: когда выяснилось, что рассказ «Чужую беду руками разведу» не может быть помещен в № 2 «Отеч. Зап.», он «вынужден был в два вечера написать другой рассказ» для того же номера (см. письмо к Анненкову от 2 марта). Этот рассказ и был первая глава «Современной Идиллии». Характерно суждение о нем самого Салтыкова из того же письма: «Он плох, но в нем есть мысль, что для презренного нынешнего времени другой литературы и не требуется. Я несколько таких рассказов напишу, которые приведут самую цензуру в изумление. Надоела мне эта ужасная литература до смерти, и, право, я очень очень несчастлив, что не могу убежать от нее»...

Не забудем, что в «Современной Идиллии», — отнюдь не «плохом», а, может быть, одном из сильнейших чисто сатирических произведений Салтыкова, — изображалась крайняя степень гражданского падения русских обывателей, которые, будучи напуганы «неистовствами белой анархии», чтобы заслужить репутацию «благонамеренных», готовы забросить все духовные интересы и зажить чисто животной жизнью, готовы играть в карты и пить водку с приставленным для наблюдений за ними сыщиком, готовы водить знакомство с квартальными чинами и жениться, по их настоянию, на содержанках, готовы «окрестить жида» и т. д. Все это, в своей совокупности, и должно было, по Салтыкову, «привести самую цензуру в изумление»...

Несмотря на то, что в 1877 г. Салтыков заговорил о своем желании «убежать от литературы», а это при его фанатической преданности ей значило чрезвычайно много, — все же отношение к нему цензуры в этом году не было столь недоброжелательным, как в последующие годы. В 1877 г., кстати сказать, произошло обстоятельство, несколько облегчившее положение передовых органов печати вообще, а «Отеч. Зап.», в частности: по случаю взятия Плевны, ранее объявленные

предостережения были аннулированы. Но с 1878 г. цензурный пресс с несравненно большею силой обрушивается и на самого Салтыкова и на журнал, главным руководителем которого он теперь (после смерти Некрасова в декабре 1877 г.) сделался.[1] Здесь не осталась без влияния кончина Некрасова, конечно, не имевшего себе равных среди современных ему редакторов в знании цензурного фарватера и умении лавировать между цензурными скалами и мелями, но главную роль сыграла общественная конъюнктура. Народническая молодежь, натолкнувшись на непреодолимые препятствия в своих попытках «хождения в народ», чрезвычайно раздраженная судебными и административными карами, постигшими ее за ее бескорыстное желание послужить народу, до крайности взнервированная непрекращавшимися политическими процессами, проникается все более и более революционным настроением и в 1878 г. начинает переходить к политическому террору. С другой стороны, неудачный ход и сравнительная безрезультатность потребовавшей огромных жертв войны с турками способствуют развитию оппозиционных настроений в широких общественных кругах. Введение конституционного устройства в освобожденной Болгарии оживляет надежды русских либералов-конституционалистов. Все это вносит значительное оживление в общественную жизнь, пытается просочиться в литературу, вызывая упорное противодействие со стороны чиновных и не чиновных охранителей, в частности, со стороны цензурных инстанций. В соответствии с общими веяниями, особенно чувствительным становится в 1878 г. и нажим цензуры на Салтыкова, сотрудничество которого в журнале было в этом году значительно менее интенсивным, чем в прошлые годы (им в 1878 г. были всего напечатаны: «Дворянская хандра» — в № 1, «Современная Идиллия» — в № 3 и 4, «Убежище Монрепо» — в № 8 и «Похороны» — в № 9), — отчасти, надо думать, потому, что редакторство поглощало у него очень много времени, отчасти, быть может,

[1] Из архивных дел главн. упр. и ценз. ком., положенных в основу настоящей статьи, явствует, что 10 марта Салтыков подал прошение в главн. упр. об утверждении его ответственным редактором «Отеч. Зап.», 13 марта III отд. собственной его импер. велич. канцелярии, отвечая на запрос главн. упр., уведомило о неимении препятствий с его стороны. 27 марта В. В. Григорьев представил вопрос на разрешение министра, высказавшись, с своей стороны, в пользу утверждения Салтыкова («я полагал бы возможным...»). Того же 27 марта министр утвердил Салтыкова.

потому, что ему, находясь лицом к лицу с волнующей современностью, было труднее, чем когда бы то ни было, приспособлять свои писания к цензурным требованиям.

Цензурные «неблагополучия» начались с январской книжки и были вызваны, главным образом, «Дворянской хандрой». Вот что Салтыков писал об этом Краевскому: «Я было заходил сегодня к Григорьеву, чтобы объясниться насчет стихов Некрасова (для февральской книжки), но не застал его и от безделья зашел в цензурный комитет. Слыша великое движение в комнате присутствия, я вызвал Ратынского, который выбежал в больших попыхах, сказал только: «Дураки читают вашу статью», — и убежал. Должно-быть, там что-нибудь нездорово. Нельзя ли послать фактора к Лебедеву узнать, что такое творится. Или же ожидать, что будет, и не предупреждать событий. Статьи своей я, пожалуй, не жалею»...

Вчитываясь в содержание «Дворянской хандры», нетрудно уловить в нем те элементы, которые встревожили «дураков», как несколько грубовато выразился Ратынский. В этом рассказе есть намеки на роль революционно-настроенного молодого поколения в современной общественной жизни. В то время, как «отцы», в лице автора рассказа, и «деды», в лице восьмидесятилетнего старца Ивана Михайловича, под влиянием постоянных неудач, постигавших их «сования», настроены более чем безнадежно, молодежь, в лице единственной уцелевшей внучки Ивана Михайловича, Юлии Петровны, полна веры в будущее. В то время, как Иван Михайлович характеризует свои жизненные впечатления словами: «Вспоминаешь-вспоминаешь и все как-то около одного предмета вертишься: около вывески с надписью «Управа благочиния»... я вот еще в восемьсот четырнадцатом начал надеждами гореть и потом все горел, все горел, а ежели начать рассказывать... Плюхи, да плюхи, на каждом шагу плюхи... вот мерзоть какая!», и утверждает, что заря на востоке «сейчас потухнет, и затем начнется ночь... и навсегда!» — болезненная и горбатенькая Юлия Петровна с горящими глазами, с лицом, осиянным лучами, с голосом, в котором слышатся «мощные, звонкие ноты», упрямо твердит: «Нет, дедушка, этого не будет!.. Заря опять придет, — и не только заря, но и солнце!.. Есть добрые, не падающие духом! Есть! И они увидят солнце, увидят, увидят!». Само собой разумеется, придраться тут было не к чему, но если принять во внимание, в какое время писалась «Дворянская хандра», то это место нельзя не при-

знать достаточно определенно говорящим о характере политических симпатий Салтыкова. Отсюда и тревога «дураков», настоявших на изменениях в тексте «Дворянской хандры» (на стр. 296 — 299).

Несравненно серьезнее была история, разыгравшаяся с февральской книжкой. Цензор Лебедев обрушился на пять помещенных в ней произведений, при чем «особенно преступной (sic!) признал IV главу «Современной Идиллии», «как заключающую в себе возмутительную насмешку над образом нашей государственной власти и историческим ее ходом до настоящего времени». Вот полный текст его отзыва о «Современной Идиллии»:

«Этот сатирический очерк составляет продолжение очерков, под тем же названием печатавшихся в первых книгах «Отеч. Зап.» за прошлый год. В настоящем очерке автор старается провести ту же мысль о невыносимости правительственной опеки над обществом, о подозрительности правительства и о желании его всюду искать и находить неблагонамеренность. Подозрительным кажется уже и то, когда люди скромно занимаются у себя в доме, не ведя ни с кем знакомства, подозрительными становятся и такие, которые, махнув на все рукою и желая казаться совершенно благонамеренными, предаются разгульной жизни. Настоящий очерк автор посвящает лицам последней категории, герои которого, испытав на себе неудобства уединенной, преданной занятиям жизни, и опасаясь попасть в разряд неблагонамеренных, пустились в разгул и связались с пороками современного общества. Один из представителей этих подонков, по просьбе новых приятелей, рассказывает свою родословную. Родословная эта и подает повод сатирику отнестись с возмутительно-дерзким глумлением над происхождением нашего государства от основания его до настоящего времени. Так рассказывает он с ядовитою иронией об известном посольстве к Варягам с просьбою прислать князей в Россию с тем, чтобы они вместо прежних случайных набегов завели бы закон, по которому методически могли грабить имущество, жечь города, насиловать женщин — о том, как князья исполнили просьбу, ввели в России эти порядки, проходившие через период удельный, через самозванщину, через период лейб-кампанцев, период введения губернаторских правлений и появления прокуроров «ради уловления в сети без надобности», т.-е. в течение 1 000 лет до настоящего времени включительно

(стр. 612 — 614). Кроме этой главной, крайне злонамеренной идеи, в нем встречается множество отдельных предосудительных мест, бросающих неблагоприятный свет на правительство за его неуместную подозрительность, за приставление во все публичные места шпионов, которые, не находя преступлений, измышляют их сами; такие предосудительные места отмечены на страницах 619, 620 — 621, 625, 626, 628. Сверх того, очерк этот отличается крайним цинизмом, так как герой очерка, бывший во время оно тапером в публичном доме, посвящает этому делу много воспоминаний».

В заключительных строках своего донесения цензор указывал, что «допущение этой статьи в настоящее время на страницах журнала вызвало бы неприязненное против правительства возбуждение, в особенности в среде молодежи», и требовал ареста книжки. Комитет присоединился к его мнению, и если арест не состоялся, то только потому, что редакция поспешила исключить из него «Современную Идиллию» и перепечатать ряд страниц в романе В. Крестовского «Былое» (319, 351, 359 стр.), во «Внутреннем Обозрении» Елисеева (197, 201, 203 и 207 — 208 стр.) и в «Литературных Заметках» Михайловского (241 стр.).

Наконец, в ноябре того же 1878 г. исключению подверглась еще одна Салтыковская статья, а именно очерк «В добрый час». В основу этой репрессии, на которую добровольно пошла редакция, лег доклад[1] цензора Лебедева цензурному комитету, усмотревшего в нем «осмеяние полиции» и настаивавшего на аресте книжки.

В том же ноябре, несколькими днями раньше, Салтыков, в качестве редактора «Отеч. Зап.», подвергся унизительной процедуре вызова в комитет для официального ознакомления с замечаниями совета главного управления по делам печати по поводу двух статей Михайловского в октябрьском номере. Салтыкова заставили расписаться на журнале совета, заключавшем эти замечания, и на вопрос его, «что будет дальше», ему было ответствовано: «это будет зависеть от вашего поведения, но хорошего ожидать едва ли можно» (см. письмо его к Михайловскому, от 7 ноября). «Со времени издания «Отеч. Записок», — добавлял Михаил Евграфович, — это случается в первый раз, но, вероятно, на будущее время будет принято за правило. . .».

[1] Текст этого доклада мы не приводим, так как главные положения его повторены в докладе о «Тревогах и радостях Монрепо» (см. ниже).

VI.

1879 год ознаменовался, как известно, еще более серьезными политическими событиями, благодаря тому, что народники-революционеры, в своей отчаянной борьбе с правительством, объектом террористических актов избрали самого Александра II. Правительство же в течение всего года неизменно прибегало к репрессиям не только против террористов, но и против общества в широком смысле этого слова и, само собой разумеется, против печати. Салтыков дал в высшей степени яркий отклик на происходившее в своем «Круглом годе», печатавшемся в №№ 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 и 12 «Отеч. Зап.». Кроме того, в этом году сатирик поместил в своем журнале несколько очерков из серии «Монрепо» (в №№ 2, 8, 9 и 11) и два очерка «Больное место» и «Старческое горе» (в №№ 1 и 5), вошедшие впоследствии в «Сборник». Как памятник данного исторического момента, наибольший интерес представляет, конечно, «Круглый год». Необходимость экономить место лишает меня возможности остановиться хоть сколько-нибудь подробно на этом замечательном произведении, в значительной части посвященном изображению новейшего «подтягивателя» и «искоренителя» Феденьки Неугодова, к которому тщетно обращаться с тоскливыми словами: «пожалейте отечество», а также страстной и убежденной защите передовой литературы против тех необоснованных обвинений, которые предъявлялись к ней бюрократами и реакционной частью общества и печати. Я ограничусь тем, что процитирую два отрывка, характеризующие общественную атмосферу, царившую в этом году. Вот как изображает Салтыков апрель месяц (не забудем, что 2 апреля Соловьев стрелял в Александра II): «Апрель был ужасен. Это был месяц какой-то неизобразимой паники. Все вдруг замутилось, заметалось, не верило ни ушам, ни глазам. И сквозь всю эту смуту явственно проходила одна струя: homo homini lupus. Говорилось, выкрикивалось, и даже печаталось нечто невероятное, неслыханное. Мало было оцепенения, в которое погрузилось общество; нашлись охочие люди, которые припомнили свои личные счеты и спешили дисконтировать их в форме извещений и угроз. Почва колебалась под ногами; завтрашний день представлялся западнею; исчезало всякое мерило для оценки поступков других лиц; становилось невозможным или, по крайней мере, рискованным, презирать заве-

домо зазорных людей. Казалось, нет уголка, в котором назойливо, не переставая, на все тоны, не звучала одна — везде одна и та же — мысль: что будет дальше? Эта бесплодная, без содержания, мысль задерживала всякую деятельность, забивала ум, чувство, волю и вызывала наружу худшие инстинкты человека, от малодушия до вероломства включительно. Люди слабодушные отыскивали на дне совести что-нибудь постыдное и держались за это постыдное, как за якорь спасения. И в довершение всего московские кликуши от внутреннего ликования словно сбесились. . . «Не человечность нужна, а ненависть», оскаливая зубы печатно вопиют доктринеры бараньего рога и ежовых рукавиц. . . Какое время!» («Первое мая»). А вот заключительный вывод сатирика о 1879 г.: «Год приходит к концу. Страшный год, который неизгладимыми чертами врезался в сердце каждого русского. Даже в худшие эпохи ничего подобного этому злосчастному году летописи русской жизни едва ли представляли». . .

Начался 1879 г. для «Отеч. Зап.», а следовательно и для их редактора, с того, что на языке тогдашних журналистов называлось катастрофой. Журналу было объявлено предостережение, главным образом, за то, что соредактор Салтыкова Г. З. Елисеев на страницах январского «Внутреннего Обозрения» попробовал коснуться вопроса о происхождении социалистического движения в России, усматривая в нем проявление свойственного «нетерпеливой молодежи» стремления помочь крестьянству в его безвыходном экономическом положении. Предостережение — само по себе — вещь в достаточной мере неприятная, но предостережение за статью подобного рода, да еще в такой год, как 1879 г., было тем более угрожающим симптомом. Так как инициатива предостережения исходила не от цензурного комитета, а непосредственно от главного управления по делам печати, то комитет, чувствуя в этом как бы указание на недостаток рвения, с своей стороны, с удвоенной энергией накинулся на «Отеч. Зап.» и на Салтыкова. По докладу того же Лебедева комитет усмотрел предосудительное направление в очерке: «Тревоги и радости в Монрепо», помещенном в февральской книжке, и направил о нем нижеследующее донесение в главное управление по делам печати:

«В этом сатирическом очерке, который правильнее следовало бы назвать памфлетом, Щедрин старается представить в самом мрачном и отвратительном виде современное поло-

жение нашего общества, в котором от произвола администрации, воплощаемой автором в лице станового, обществу приходится задыхаться. Прибегая к известному приему, употребляемому в литературе, когда вещи и лица нельзя называть их собственными именами, а приходится объясняться иносказательно, Щедрин весьма ловко втискивает действия и распоряжения администрации в тесные рамки деятельности станового пристава, приписывая ему при этом ту власть и могущество, которого в действительности становой никогда не имел и не имеет. Рассматривая настоящее произведение Щедрина под этим углом зрения, мы не можем не признать его крайне предосудительным, неблагонамеренным и вредным. А без сомнения никто из сколько-нибудь развитых людей иначе и не будет понимать этот очерк, ибо смешно было бы буквально приписывать становым те свойства и ту силу, которыми автор их наделяет.

Очерк свой Щедрин начинает с того, что в то имение, в котором он живет, ожидается перевод становой квартиры и приезд нового станового. Он не знает радоваться или печалиться этому; скорее печалиться, так как он думал, что чаша бедствий им выпита уже до дна, а тут вдруг имеется наготове еще целый ушат (стр. 569). О прежних становых говорить нечего, те были люди невинные, пешки, пьяницы, взяточники; но нынешние новые, с тех пор, как им даны новые мундиры, люди другого сорта; они приняли в свое заведывание основы и краеугольные камни; они получили дар читать в сердцах человеческих (стр. 570); они смело стали делить людей на благонамеренных и неблагонамеренных (стр. 576) и тем сделали положение всякого обывателя невыносимым (стр. 575). Всякого, кто не находится на службе, кто не имеет княжеского титула, они могут причислять к разряду злоумышляющих; а между тем всякому хочется жить, и на это имеют право не одни только грабители, но и те, которых грабят; да и следует наконец убедиться, что ежели отнять право на жизнь у тех, которых грабят, то в конце концов некого будет грабить (стр. 575 — 576). Но как наружных признаков, при помощи которых можно было бы сразу отличить благонамеренного от неблагонамеренного, нет; ожидать же поступков и мешкотно и скучно, то в этой крайности, чтобы выйти из затруднения, остался только один способ — это сердцеведение; а когда явился запрос на сердцеведение — явились и сердцеведы (стр. 578). Затем автор описывает

приезд нового станового, знакомство с ним и его взгляды на свои служебные обязанности; пересыпая все это самыми язвительными сарказмами, он в особенности выставляет деятельность станового пристава в речи, которую заставляет его произносить при представлении ему подчиненных, т.-е. сотских. Речь эта есть не что иное как пародия речи, произнесенной одесским градначальником Гейнсом, при приеме полицейских чинов; некоторые фразы выхвачены из нее даже просто целиком. В этой речи становой возлагает на обязанность сотских без церемонии шпионство за всеми обывателями и главное наблюдение за целостью и неприкосновенностью краеугольных камней» (стр. 587 — 593).

Затем, в донесении отмечалась, как предосудительная, статья о финансовой росписи, содержащая ряд критических замечаний по поводу финансового управления вообще; в заключительной же части донесения цензор настаивал на заарестовании февральского номера. Комитет, согласно своей обычной практике, примкнул к мнению Лебедева, но главное управление — редкий случай проявления бо́льшей по сравнению с комитетом терпимости с его стороны! — встало на иную точку зрения. В докладе по этому делу министру В. В. Григорьев писал: «Ни ту ни другую из этих статей не могу я признать вредной и опасной в такой степени, чтобы предстояла необходимость уничтожить их путем закона 7 июля 1872 г. Что касается до произведений Щедрина, то они, как сатирические, естественно представляют вещи не в их настоящих размерах; преувеличение же, в которое он настолько вдается, имеет результатом, что читатель проникается не злобою, не негодованием, а смехом». . . Министр согласился с начальником главного управления, и заарестование № 2 «Отеч. Зап.» не состоялось. Быть может, в процитированных словах В. В. Григорьева сказался отголосок того отношения к Салтыкову, полагаясь на которое этот последний осенью 1876 г. утверждал, «что теперь Григорьев пропустит ему все, что бы он ни написал». Но если это и был отголосок, то проявился он сколько-нибудь ощутительно в последний раз. В сентябре 1879 г., когда В. Григорьев был в отпуску, статьи Салтыкова вновь навлекли на журнал цензурную грозу и на этот раз несравненно более серьезную, чем трения, имевшие место в феврале. Цензурным комитетом были опротестованы, по докладу Лебедева, обе статьи Салтыкова, помещенные в № 9: как «Finis Мон-

репо», так и «Первое июня. Первое июля» (эту последнюю статью Салтыков подписал псевдонимом Nemo).

О «Finis'e Монрепо» Лебедев отозвался в своем докладе кратко. «В статье редактора «Finis Монрепо»—писал он,— не представляющей по общему содержанию никакого цензурного затруднения, есть одно место (стр. 231), где, говоря о новых строгих мерах, предпринимаемых правительством, автор позволяет себе в настоящих обстоятельствах, предлагать правительству шутовскую и безнравственную идею: «умников в реке топить, а упование возложить на молодцев из Охотного ряда. А когда молодцы начнут по зубам чистить, тогда горошком... Раз, два, три и се не бе» (очевидно под горошком автор разумеет картечь). «Молодцов горошком, а на место их опять умников поманить. А потом умников горошком: так оно колесом и пойдет».

Если учесть тот факт, что в декабре 1876 г. демонстрировавшие на Казанской площади землевольцы подверглись избиению дворников и сидельцев мелочных лавок, которых натравила на них полиция, а в 1878 году подобной же, но еще более жестокой расправе подверглись московские студенты со стороны охотно-рядских мясников, опять-таки вразумленных полицией, то станет совершенно ясным, каких «умников» имеет здесь Салтыков в виду. Этот отрывок, изъятый, как увидим впоследствии, из печатного текста рассказа, равно как и смежные с ним рассуждения, уцелевшие в журнале, свидетельствуют, что Салтыков страстно желал выступить с горячим и убежденным словом в защиту молодого поколения, рискнувшего на непосильную борьбу, в то время как старшее поколение смирнехонько сидело по домам, но не имел точно так же, как и Елисеев, фактической возможности высказаться с достаточной полнотой и обстоятельностью и волей-неволей принужден был довольствоваться полу-намеками, полу-аллегориями. Однако и эти последние старательно обесцвечивались цензурой, как показывает только-что изложенный эпизод.

Вторую статью Салтыкова цензор обсуждал с несравненно большей подробностью. «Статья: «Первое июня. Первое июля» Nemo, — писал он, — заключает в себе протест против мер строгости, предпринимаемых правительством для устранения тех ненормальных явлений в общественной жизни, которыми отличается у нас последнее время. Литературный прием, усвоенный автором для проведения безнаказанно своей мысли,

есть сатира. Форма изложения — диалог. Разговор происходит между дядей и племянником, из коих первый есть представитель благоразумия, бичующий крайние стремления своего племянника, а последний олицетворяет собой какую-то правительственную партию, требующую проведения строгих мер для успокоения взволнованного общества, а может быть и какое-либо высшее правительственное лицо, хотя автор и представляет его в виде молодого человека, желающего сделать себе карьеру, пользуясь тем попутным ветром, который подул, по его мнению, со стороны строгих мероприятий. В лице этого юноши, называемого Федею (как принято иногда называть именем собственным целое сословие, например, Жак Боном или Роберт Макер, представляющих собою французский простой народ или его пролетариат), автор воплощает известную правительственную систему, которую и бичует своею сатирою и сарказмом, желая систему эту представить в самом смешном виде. При существующем образе действий правительства, направленном к истреблению зла, пустившего корни в общественный организм, нельзя придать вышеназванной статье иного смысла».

В доказательство такого предосудительного содержания статьи, цензор указывал на следующие места:

«На стр. 124 дядя советует, в ироническом, разумеется, смысле, вдобавок ко всем глупостям своего племянника Феди, устроить комиссию для начертания правил на случай чистосердечных раскаяний. На стр. 126 и 127 происходит спор между дядей и племянником, стремящимся подтянуть всю Россию, спор, в котором дядя старается представить всю невозможность и нелепость этого стремления. Прежде всего, — говорит он, — бог вожжей таких длинных не создал, так как Россия слишком велика, а во-вторых, из отдельных частных случаев каких-либо безобразных явлений не следует делать обобщений и подтягивать и гнуть в бараний рог целую Россию. На стр. 127 и 128 — дядя упрекает племянника в том, что он, хорошо зная, что массы не сочувствуют известным превратным толкованиям, между тем собирается подтянуть и их и старается общими мероприятиями захватить возможно обширнейшую область, чтобы каждый знал, что Кузьку Кузьмой зовут. Русские, — говорит он, — всегда оказывались бессильными, когда нужно было указать на действительно больное место. Но зато никто свободнее их не плавал в океане так называемых общих мероприятий. Оно и легко и лестно.

Во-первых, плыви, куда хочешь—нигде пути не заказаны; во-вторых, бей направо, бей налево — авось и подвернется виноватый, а в-третьих, как же не лестно: мозгов не утруждаешь, а между тем воочию видишь, как в сердцах водворяется спасительный страх.

На стр. 130 — дядя говорит: «Надо понимать, что на свете существуют не две только разновидности: человек — начальник и человек — бунтовщик, но есть еще средний человек, трудящийся и скромный человек, который предпочитает спокойствие беспокойству, свободу стеснению, потому что видит в спокойствии и свободе единственную ограду своей личности и своего труда. Вот этого-то среднего человека и не следует тревожить; что нельзя людей, не утративших чувства человечности, клеймить названием с о ч у в с т в у ю щ и х, кличкою, сочиненною в последнее время в числе многих и начертанною на стенах ретирадных мест. Федя, не ошибись, восклицает дядя. Не вечно ведь будут проповедывать, что крестьянская реформа есть источник всех зол, что суд присяжных — злонамеренная комедия, что свободная печать — вертеп мошенников пера, что человечность равна сочувствию. Ныне это, конечно, в моде, но завтра, быть может, и выйдет из моды».

Цензурный комитет, в полном единомыслии с цензором, «признавая, что как приведенное место из статьи Щедрина «Finis Монрепо» (стр. 231), так и указанные места в статье «Первое июня. Первое июля» — Nemo (стр. 119 и след.), как подвергающие осмеянию действия правительства и колеблющие его авторитет, являются крайне вредными, особенно в настоящее время, полагал необходимым сентябрьскую книжку «Отеч. Зап.» подвергнуть задержанию».

Мнение комитета получило утверждение, и № 9 «Отеч. Зап.» был заарестован в типографии, откуда его выпустили только после того, как в «Finis'е Монрепо» была сделана купюра (стр. 231), а из второй статьи исключен весь отдел под рубрикою «Первое июня».

Таким образом, 70-е годы заканчивались как для самого Салтыкова, так и для руководимого им журнала очень тревожно. Недаром относящиеся к этому времени письма Салтыкова проникнуты невыразимо тоскливым настроением, явившимся следствием и правительственной реакции, и общественной деморализации, и тяжелого положения литературы и, наконец, все возраставшего физического недомогания.

Не рискуя впасть в преувеличение, можно утверждать, что и Салтыков и «Отеч. Зап.» должны были ждать для себя всяких катастроф, если бы общественно-политическая конъюнктура, сложившаяся в 1879 г., продержалась и в следующем году. Однако, следующий (1880) год ознаменовался, как помнит читатель, пресловутой «диктатурой сердца» гр. М. Т. Лорис-Меликова, при которой печать получила возможность взохнуть свободнее.

Прежде чем перейти к обзору журнальной деятельности и цензурных мытарств Салтыкова в 1880 г. и последующие годы, вплоть до запрещения «Отеч. Зап.» в апреле 1884 г., подведем некоторые итоги, касающиеся двенадцатилетия с 1868 г. по 1879 г. За этот период времени вопрос о статьях Салтыкова возбуждался цензурными инстанциями в 29 случаях, при чем по количеству отдельных цензурных инцидентов год на год отнюдь не приходится: наименее часто статьи Салтыкова тревожили цензоров в шестилетие с 1868 г. по 1873 г., наиболее часто в шестилетие с 1874 г. по 1879 г. Соотношению по количеству цензурных инцидентов соответствует и соотношение по их качественному значению, иначе говоря, по тяжести вызванных ими мер воздействия. В целях наглядного пояснения высказанных суждений нелишнею будет нижеследующая сводка:

1868 г.	в сентябре Ф. М. Толстым возбуждался вопрос об очерке «Легковесные» и «Письмах из провинции».
	в ноябре в ценз. ком. возбуждался вопрос об очерке «Старая помпадурша».
1869 г.	в январе в ценз. ком. возбуждался вопрос об «Истории одного города».
	в июне возбуждался вопрос о статье «Уличная философия».
	в сентябре Ф. М. Толстым возбуждался вопрос о рассказе «Испорченные дети».
	в ноябре в ценз. ком. возбуждался вопрос о «Письмах из провинции» и, повидимому, было исключено продолжение «Ташкентцев».
1871 г.	в августе был исключен пятый очерк «Итогов».
	в октябре III отделение возбудило вопрос о статье «Так называемое нечаевское дело» (№ 9), а ценз. ком. о статье «Самодовольн. современность» (№ 10).
1872 г.	в июле объявлено предостережение, повидимому, за «Дневник провинциала».
1873 г.	в феврале возбуждался вопрос об очерке «В больнице для умалишенных».

Таким образом, 1869 — 1873 гг. ознаменовались всего одиннадцатью цензурными инцидентами, из которых только относящиеся к ноябрю 1869 г. (исключение «Ташкентцев»), к августу 1871 г. (исключение «Итогов») и к июлю 1872 г. должно признать достаточно серьезными, если, впрочем, быть вполне уверенным, что исключение «Ташкентцев», на самом деле, имело место и что предостережение дано было за «Дневник провинциала», а не за «Внутреннее обозрение» Демерта, как это указывалось в его официальном тексте. Принимая во внимание, что это шестилетие Салтыков печатался не менее как в 50 номерах «Отеч. Зап.»,[1] мы в праве заключить, что цензурный гнет для него не был слишком тягостным, поскольку речь идет о непосредственном, в форме определенных официальных сношений осуществляемом, нажиме. Из 50 печатных высказываний Салтыкова только в одиннадцати случаях имели место цензурные трения, — это, конечно, не мало, но и не так уж много. Впрочем, при оценке этих цифр нельзя забывать, что, как уже указывалось в предыдущем изложении, «Отеч. Зап.» только числились «бесцензурным» журналом, а в действительности им пришлось подчиниться порядку, который нельзя расценивать иначе как предварительное цензирование. Благодаря предварительному просматриванию номеров журнала «знакомыми» цензорами, в роде Ф. М. Толтого, не малое количество изъятий делалось по «частному соглашению» и совершенно не отражалось в официальных документах, а следовательно, не могло быть принято во внимание в приведенной сводке.

Совершенно иную картину дает сводка по следующему шестилетию. Вот она:

1874 г.	в апреле в главн. упр. возбужден вопрос о «Зиждителе» («Помпадуры и помпадурши»).
	в мае арестована, вместе с № 5 журнала, 9-ая гл. «Благонамеренных речей».
	в июне ценз. ком. сообщает главн. упр. об «Экскурсиях в область умеренности и аккуратности».
1875 г.	в сентябре исключен один из очерков «Экскурсий в область умеренности и аккуратности».
	в ноябре подвергся купюрам текст «Непочтит. Короната».

[1] Для нашего подсчета мы пользуемся далеко не полной библиографией А. А. Шилова, приложенной к книге К. К. Арсеньева о Салтыкове. Едва ли можно сомневаться поэтому, что цифра 50 не выше, а ниже действительной.

1876 г.	в январе подвергся купюрам текст «Культурных людей».
	в марте задержано печатание «Отрезанного ломтя».
	в июне сообщено в главн. упр. о «Привете» («Благ. речи»).
	в сентябре в ценз. ком. возбуждался вопрос об «Экскурсиях».
1877 г.	в январе вырезана «вся внутренность» рассказа «Дети Москвы».
	в феврале исключен рассказ «Чужую беду руками разведу».
	в марте сообщено в главн. упр. о II гл. «Соврем. Идиллии».
1878 г.	в январе подверглись купюрам «Двор. хандра» («Экскурсии»).
	в феврале исключена IV гл. «Соврем. идиллии».
	в ноябре исключен очерк «В добрый час».
1879 г.	в феврале сообщено в главн. упр. о «Тревогах и радостях Монрепо».
	в сентябре подвергся купюрам «Finis Монрепо».
	в сентябре исключен очерк «Первое июня» («Круглый год»).

Здесь уже получаются совершенно иные цифры, чем в первое шестилетие. Не одиннадцать цензурных инцидентов произошло в период 1874 — 1879 гг., а целых 18, что составит три инцидента в год. Эти 18 инцидентов падают на 45 печатных высказываний Салтыкова, что составит около 38%. Это процент огромный: на каждые 10 высказываний приходилось, следовательно, по четыре цензурных инцидента. На ряду с возрастанием количества инцидентов, значительно повысилась и их серьезность: на 18 инцидентов в это шестилетие мы имеем один арест, закончившийся сожжением, и четыре исключения из текста журнала целых произведений. Нет надобности распространяться о том, что подобное резкое увеличение и числа и серьезности цензурных инцидентов, находившееся, само собой разумеется, в связи с общим политическим положением, в частности с непрекращающимся ростом революционного движения, должно было создавать под ногами Салтыкова в высшей степени зыбкую почву, должно было держать его психику в состоянии мучительной неуверенности в завтрашнем дне. И тем бо́льшей чести он заслуживает, что, доходя временами, как это и видно из

многих его писем, до полного физического и нравственного изнеможения, он продолжал твердо держать свое знамя, и его голос звучал попрежнему громко и уверенно, обличая происки реакционеров всех мастей и рангов.

Не лишнее будет, в заключение, отметить, какие стороны в литературной проповеди Салтыкова вызывали наибольшее негодование цензурных инстанций. Вчитываясь в официальные мотивировки предосудительности тех или других статей Салтыкова, мы видим, что в первое шестилетие цензура, преимущественно, ставила в вину Салтыкову «осмеяние провинциальной администрации», в том числе и «историографов», т.-е. губернаторов, а иногда готова была трактовать его, как пасквилянта: в сановнике «Кузьме Пруткове» из «Дневника провинциала» М. Н. Лонгинов усмотрел пасквиль на себя; в «Зиждителе» видели «пасквиль» на пензенского губернатора Татищева. «Осмеяние провинциальной администрации» и пасквилянтство — грехи с точки зрения цензурного ведомства, хотя и тяжелые, но простительные. Во второе шестилетие к Салтыкову все чаще и чаще начинают предъявляться обвинения в грехах непростительных. Первоначально цензура высказывает эти обвинения в более или менее сдержанных выражениях, как, например: «автор имел в виду изобразить грустные условия современного общественного положения России». Но, по мере того, как, с одной стороны, обострялась борьба с народниками-революционерами, а с другой, Салтыков не изъявлял ни малейшего желания изменить свой «пессимистический взгляд» на современную действительность, в отзывах цензоров начинают проскальзывать все более и более резкие ноты. В начале 1876 года в отзыве о «Культурных людях» Салтыкову было поставлено в вину «желание выставить на позор не одни общественные недостатки, но и самый государственный порядок». Это звучало уже в достаточной мере грозно. Автор в данном случае трактовался уже, употребляя бессмертные выражения самого Салтыкова, «яко возмутитель» и «потрясатель основ». Подобным же характером отличается квалификация салтыковских грехов, относящихся к следующему (1877) году. Так, вторая глава «Соврем. Идиллии» навлекла на автора упрек в том, что он высказывает «полное недовольство существующими у нас порядками и протест против чрезмерного гнета со стороны правительства на мыслящее население»... В 1878 и 1879 гг. цензора не стесняются прибегать к несравненно более силь-

ным выражениям. Вот образчики тех дышащих злобой квалификаций, которые теперь вызывали с их стороны писания Щедрина: «возмутительно дерзкое глумление», «возмутительная насмешка над образом нашей государственной власти и историческим ее ходом» (о «Совр. Идиллии»), «явное презрение к правительству, прибегающему к шпионству, как главному орудию самосохранения» (о «Тревогах и радостях Монрепо») и т. д. и т. п. На ряду со стремлением наказать дерзкого сатирика за его «неблагонамеренное» отношение к «государственной власти», цензура не малое раздражение проявляла и в тех случаях, когда стрелы салтыковской сатиры задевали и ее самое, а также. . . становых и урядников.

Сопоставляя цензорские квалификации «предосудительных» статей Салтыкова, относящиеся к началу, средине и к концу 70-х годов, нельзя не констатировать такого нарастания злобы против него, что взрыв, в виде «решительных» мер против него и «Отеч. Зап.», становился лишь вопросом времени. «Диктатура сердца» только отсрочила этот взрыв.

VII.

Здесь уместно будет сказать несколько слов по поводу самой «диктатуры» и причин, ее вызвавших. . . Правительственное сообщение 20 августа 1878 г., в котором содержалось обращение к обществу оказать содействие власти в ее борьбе с «крамолой», не достигло цели: общество, даже в лице своих буржуазно-обывательских кругов, в такой мере чувствовало себя угнетенным реакционным режимом, что не без затаенного злорадства созерцало бессилие правительства в его попытках «вырвать зло (т.-е. революционное движение) с корнем». В адресах земств, явившихся как бы ответом на обращение правительственного сообщения 20 августа (напр., в адресе Черниговского земства), весьма недвусмысленно указывалось на то, что, не имея гарантий в законе, лишенное свободы слова, утесняемое безответственными представителями административной власти, общество не в состоянии помочь правительству в его «борьбе с разрушительными идеями». Правительство в своем упорном нежелании даже частично изменить курс внутренней политики не только игнорировало заявления подобного рода, но готово было применять более или менее суровые репрессии в отношении их инициаторов (так было поступлено

в начале 1879 г. с гласным Черниговского земства И. И. Петрункевичем). А между тем опасность со стороны террористов становилась все грознее и грознее. Особенно это почувствовалось после того, как на арену борьбы вступила сорганизовавшаяся летом 1879 г. партия «Народная Воля», направившая свои усилия на осуществление цареубийства. Уже в ноябре 1879 г. при возвращении Александра II из Крыма, он едва не сделался жертвой покушений на его жизнь с помощью минирования в нескольких местах железнодорожного полотна, по которому должен был пройти царский поезд. 4 февраля 1880 г. террористическая деятельность народовольцев, которую решительно не в силах были парализовать репрессии и полицейские меры, привела к грандиозному взрыву в Зимнем Дворце, организованному Степаном Халтуриным и грозившему жизни всей царской фамилии. Под впечатлением непрекращавшихся покушений, принявших поистине грозный характер, в настроении правящих сфер произошел сдвиг; стало назревать сознание необходимости примирения с либерально-буржуазными кругами, хотя бы ценою некоторых уступок. Авторитетным представителем этого сознания, сумевшим, в значительной степени, подчинить своему влиянию Александра II, был гр. М. Т. Лорис-Меликов. Новейшими исследованиями с несомненностью установлено, что ни о каких серьезных реформах он не думал, являясь противником не только конституции на западно-европейский лад, но даже законосовещательного земского собора по славянофильскому рецепту. Обладая, в качестве начальника «верховной распорядительной комиссии», диктаторскими полномочиями для подавления «крамолы», гр. Лорис-Меликов, на ряду с беспощадной борьбой с этой последней, все же считал необходимым несколько ослабить гнет, под которым находились все классы общества, и пойти навстречу некоторым из пожеланий земств. В частности, Лорис-Меликов облегчил положение печати: не будучи сторонником свободы печати, он умерил придирчивость цензурных инстанций. Впрочем, это облегчение сказалось не сразу. Начало лорис-меликовской диктатуры следует считать с 12 февраля, когда был опубликован указ об учреждении «верховной распорядительной комиссии», а на заседании цензурного комитета 16 февраля, по докладу неутомимого гонителя «Отеч. Зап.» цензора Лебедева, были намечены весьма суровые меры в отношении февральской книжки жур-

нала. В своем длиннейшем донесении в комитет Лебедев обрушился на целых п я т ь статей № 2, обвиняя редакцию в том, что она стремится «возбудить и без того без меры возбужденные страсти молодых людей» (рассказ Осиповича-Новодворского «Записки молодого человека»), что она рисует современную общественную жизнь каким-то тяжелым «кошмаром», созданным реакцией и «литературой ретирадников» (очерк Щедрина «Вечерок»), что она подрывает доверие к государственной росписи (статья «Финансовые итоги последних лет»), что, с сочувствием говоря об общественном движении царствования Александра II, «гнусные подвиги социалистов» считает «естественным ходом борьбы», что она не удовлетворена результатами крестьянской реформы и обвиняет в обезземелении крестьянства привилегированное сословие («Внутр. обозрение») и что, наконец, — horribile dictu! — сообщение о покушении Степана Халтурина поместила в конце книги и не выразила ему осуждения.

Надо думать, что, выдвигая столь тяжелую артиллерию против «Отеч. Зап.», цензура стремилась угодить «верховной распорядительной комиссии», со стороны которой ожидала такого же террора в отношении печати, который практиковала в 1866 г. подобная же комиссия гр. М. Н. Муравьева Виленского, запретившая, кстати сказать, два виднейших оппозиционных журнала того времени родственного с «Отеч Зап.» направления, — «Современник» и «Русское Слово». Во всяком случае, меру, предлагаемую цензурным комитетом в отношении № 2 «Отеч. Зап.», — арест книжки, — нельзя не признать достаточно внушительной. Слухи о надвигающейся грозе не замедлили дойти до Салтыкова, и он поспешил обратиться к начальнику главного управления по делам печати В. В. Григорьеву с нижеследующим письмом (от 17 февраля):

«Милостивый Государь Василий Васильевич!

До меня дошел слух, что по поводу № 2 «Отечественных Записок» встречены некоторые цензурные недоразумения. А так как для пользы дела собственно все равно, ежели недоразумения эти будут разрешены негласным путем, то не будете ли, ваше превосходительство, столь добры сделать распоряжение о предъявлении мне, что̀ именно подало повод

к затруднениям. Я надеюсь, что с исполнением этого дело уладится само собой.

С истинным почтением и совершенною преданностью имею честь быть вашего превосходительства, милостивый государь, покорнейший слуга М. Салтыков»

В. В. Григорьев, очевидно, более осведомленный, чем цензурный комитет, в том, какое направление примет деятельность гр. Лорис-Меликова, сделал доклад министру в том смысле, что вред от указанных цензором статей не таков «чтобы комитет министров нашел справедливым и необходимым уничтожить из-за него всю февральскую книжку «Отеч. Зап.» и что, поэтому, можно было бы ограничиться предостережением, или же, в виду изъявленной Салтыковым готовности, «исключить из этой книги все, что затрудняет в ней цензуру»: тогда «можно будет обойтись и без предостережения». Л. С. Маков, надо думать, еще в бо́льшей степени находившийся в курсе господствовавших в «сферах» настроений, избрал последний путь, и «Отеч. Зап.» вскоре увидели свет, но, увы! без рассказа Осиповича и очерка Салтыкова. Однако, к весне 1880 г. «новый курс» в отношении печати настолько определился (не забудем, что 4 апреля 1880 г. состоялось назначение на пост начальника главного управления по делам печати сенатора Николая Саввича Абазы, которого столь искушенный в сношениях с цензурой деятель, как соредактор Салтыкова по «Отеч. Зап.» Г. З. Елисеев, называет «наиболее симпатичным из всех бывших начальников этого управления», принимавшим «горячее участие в интересах литературы»), что в ближайших книжках журнала оказалось возможным напечатать обе только-что исключенные статьи. Так, в апрельской книжке появился «Вечерок» Салтыкова, правда, под измененным заглавием: «Не так давно», и в майской — рассказ Осиповича по заглавием «Карьера». Факт прямо-таки беспримерный в летописях цензуры! . .

Таким образом, общее настроение цензурных сфер было таково, что, уезжая в конце июня за границу, Салтыков мог чувствовать себя относительно спокойным за участь журнала.

Насколько «относительным» было его спокойствие видно, хотя бы, из его письма от 15 мая к Н. Д. Зайончковской (Крестовской — псевдоним), в котором, извещая ее о том, что в ее повести, помещенной в апрельской книжке, ему пришлось сделать некоторые исключения, он писал: «Уверяю Вас, что

цензура все еще сильнее меня. Хоть и обещают нам времена льготные, но это еще в будущем. Да и при том надо посмотреть, что за льготы такие. Уж был вопрос о предостережении «Отеч. Зап.» за апрельскую книжку, и как удостоверяет меня Н. С. Абаза, только он спас от этой кары, приводящей журнал к вожделенному концу. Я думаю, что льготы действительно будут, но сомневаюсь, чтобы они распространялись на ту общечеловеческую почву, которая составляет pia desideria «Отеч. Зап.». Для нашего журнала, повидимому, нет ни правой ни левой — все карты биты. На днях Абаза говорил мне: «Ваш журнал внушает к себе в известных сферах чрезвычайное озлобление, поэтому я могу вам посоветовать только одно: осторожнее! На что я ему возразил, что у нас есть только одно понятие, прочно установившееся, — это: осторожнее! И затем, взяв одр свой, возвратился в дом свой для дальнейших по сему предмету размышлений. А результат таковых следующий: как бы при либералах-то именно и не погибнуть. Двенадцать лет, как я хожу за «Отеч. Зап.», видел Лонгинова, видел Шидловского и все-таки: жив есмь и жива душа моя! А вот либералы, пожалуй, и подкузьмят».

Вскоре после его отъезда, очевидно, не без влияния Н. С. Абазы, гр. Лорис-Меликов, пригласив к себе редакторов всех газет и журналов, «изложил перед ними те главные, отдаленные и ближайшие, задачи, которые имеет в виду, а потом перечислил все те вопросы и злобы дня, о которых придется говорить прессе; относительно последних, все их разрешил, запретив касаться только задач отдаленных, имеющихся лишь в перспективе» (цитирую по статье Елисеева о Салтыкове, напечатанной в «Заветах», 1914 г., № 4). Елисеев, бывший на этом собрании взамен отсутствовавшего Салтыкова, тщательно записал, что говорил гр. Лорис-Меликов, а затем, с разрешения графа, данного при посредстве того же Абазы, напечатал записанное в сентябрьской книжке «Отеч. Зап.». О происшедшем он, конечно, поспешил уведомить Салтыкова. Салтыков продолжал относиться к «новым веяниям» весьма скептически, как показывают его ответное письмо Елисееву (от 22/IX) и письма к Анненкову (от 21/IX) и Михайловскому (см. в «Воспоминаниях» Михайловского). Ему, более чем кому бы то ни было из русских писателей сумевшему постичь нравственную природу российских помпадуров, независимо от того, какие бы личины они ни наде-

вали, не верилось ни в полную искренность Лорис-Меликова, ни в способность его сделать, действительно, что-либо существенное. «Поживем — увидим», писал он Елисееву. В письме к Анненкову Михаил Евграфович без всяких обиняков вскрывает источник своего скептицизма. Во-первых, Лорис-Меликов, по его сведениям, в своей речи редакторам «заявил, что о конституции и думать нечего, и распространять конституционные идеи значит производить в обществе смуту»; во-вторых, не умея или не желая отрешиться от манеры обращения с представителями печати, издавна усвоенной царскими сановниками, он «оскорбил одного из редакторов, именно, Полетику», а в ответ на возражение последнего не нашел ничего лучше, как пригрозить ему закрытием его газеты («Молвы») и даже высылкой. Из «Воспоминаний» Михайловского известно, что Салтыков отнесся очень неодобрительно и к самому факту помещения программы Лорис-Меликова в «Отеч. Зап.», говоря, что это превращает журнал в официальный орган.

Теперь, имея в своем распоряжении многочисленные источники, вскрывающие внутреннюю сущность пресловутой «диктатуры сердца», мы не можем не притти к заключению, насколько прав был Салтыков в своем недоверчивом отношении к начинаниям Лорис-Меликова, но тем не менее отнюдь не приходится удивляться, что людям менее проницательным, чем он, могло на самом деле казаться, что происходит какой-то сдвиг. Таково, напр., отношение к «диктатуре сердца» Елисеева (см. вышеупомянутую статью его в «Заветах», стр. 25). Во всяком случае, нельзя отрицать, как и отмечалось уже выше, что цензурные органы несколько изменили свою практику в отношении печати. В дополнение к указанным уже фактам из цензурной истории «Отеч. Зап.» за 1880 г. я имею возможность привести еще следующие. Когда цензор «Отеч. Зап.», повидимому, тот же Лебедев попробовал возбудить вопрос о «Внутреннем обозрении» № 12 «Отеч. Зап.», в котором заключались очень резкие и по существу и по форме нападки на учрежденный два года тому назад институт урядников («контингент урядников, набираемый из отбросов общества, составляет род паразитов в крестьянском управлении, разоряющий только крестьян»; «в лице урядников у нас заведено 5 000 лишних, ни для кого и ни для чего ненужных полицейских, и эти полицейские, стоящие государственному казна-

чейству около 2 милл. руб., высасывают из народа еще 5 милл. незаконными поборами»... и т. д.), то попытка эта закончилась лишь приобщением его доклада «к делу», т.-е. ничем.

О некотором смягчении цензурного пресса свидетельствует и история, разыгравшаяся с февральской книжкой «Отеч. Зап.» за 1881 г. Об этой книжке цензурным комитетом был направлен в главное управление по делам печати обширный доклад, в котором шла речь о следующих «предосудительных статьях»: «После потопа»—В. Крестовского, «За рубежом» — Щедрина и «Внутреннее обозрение». В отзыве о первой из них указывалось, что в ней «с явной тенденциозностью описывается время политических арестов; то треволнение, которое они производили в обществе, и то влияние, которое они имели на лиц временно арестованных и впоследствии выпущенных»; в отзыве о третьей отмечалось, что в ней «редакция имеет целью представить невыносимое положение административных ссыльных в Якутской области, необходимость амнистирования всех административных ссыльных и отнятия у губернаторов прав административной ссылки». Отзыв об очерке Салтыкова цитирую целиком:

«Этот очерк, составляя продолжение описания пребывания Щедрина в Париже, изложен в том же пессимистическом духе, как и предыдущие. В них автор описывает встречи свои с путешествующими русскими и при всяком удобном случае старается представить в самых мрачных красках общественный и политический порядок в своем отечестве. Почти на каждой странице он указывает на то, что в России жить невозможно от полицейских урядников, исправников и других начальств, которые только думают, как уловлять своих сограждан и высылать их административным порядком в дальние страны. Так, в настоящем случае судьба свела его в Париже с одним учителем латинского языка, которого губернатор хотел сослать в Пинегу за заданный гимназистам перевод с русского на латинский язык предосудительного будто бы рассуждения и которому удалось избегнуть этой участи случайным заступничеством какого-то влиятельного лица, но которому тем не менее и за границею всюду мерещутся преследования (стр. 596 — 598). Далее описывает встречу с другим русским — что-то в роде купца, который также жалуется на претерпенные им в своем отечестве все-

возможные запрещения и преследования (стр. 602 — 603, 605). Осматривая Версаль и рассказывая своим спутникам историю этого знаменитого местечка, вспоминает о производившихся кутежах королей французских, шутливо замечая о расплате за это Людовика XVI. В доказательство возможности обходиться без королей — приводит настоящее французское государство, при чем иронизирует на тему: «несть власть, аще не от бога»; ведет саркастический разговор о том, кто выше — король или император, мазаны или не мазаны были короли французские, и если мазаны, то вероятно дурно, т. к. они лишились мест своих и что без них французы не погибают и продолжают жить (стр. 608 — 609). Далее по случаю празднования именин одного русского, при провозглашении тоста, говорит речь, в которой развивает мысль, что у нас понятие об отечестве и начальстве так перепутано, что постоянно одно ставится вместо другого (стр. 616 — 619), и кончает свой очерк намеком на речь министра внутренних дел о том, что не следует верить иллюзиям».

Заключал цензор свое донесение словами:

«Все эти три статьи заключают в себе осуждение нашего правительства и администрации, для которых будто бы не существует закона, а руководством служит произвол; такого рода, статьи, конечно, не могут внушить доверия к правительству, и они не могут не считаться вредными и не предосудительными; но при существующих законах о печати они не могут преследоваться судебным порядком, так как сущность взводимых на правительство обвинений изложена недостаточно резко для мотивирования преступности оного перед судом. Тем не менее, цензор считает необходимым о февральской книжке «Отеч. Зап.» донести главному управлению по делам печати».

Всякий сколько-нибудь знакомый с той «свободою суждений», которая при Александре II и Александре III была отпущена на долю русской печати, согласится, что в рассматриваемых статьях № 2 «Отеч. Зап.» обсуждались вопросы, которых, вообще говоря, касаться было небезопасно, и обсуждались довольно-таки смело. Случись нечто подобное в иные времена, виновный журнал понес бы весьма тяжелую кару; теперь же дело ограничилось лишь донесением в главное управление. Впрочем, это последнее все-таки предприняло кой-какие шаги. Хотя книжка «Отеч. Зап.» и вышла, но

с перепечаткой нескольких мест в очерке Щедрина[1] и с изъятием всего «Внутр. обозрения».

Отмеченный эпизод—последний, относящийся к эпохе сравнительного цензурного благополучия «Отеч. Зап.», которая обнимала, как мы видели, всего один только год—с февраля 1880 г. по февраль 1881 г.

VIII.

Первомартовское событие вызвало исключительную по своей интенсивности реакцию, реакцию тем более страшную, что она нарастала и развивалась постепенно, день-ото-дня становясь все беспросветнее. Реакция эта не могла не сказаться и на положении печати, хотя особенно ощутительно дала себя почувствовать не сразу. Зато для «Отеч. Зап.» сразу дало себя почувствовать другое обстоятельство: болезнь Елисеева и болезнь самого Салтыкова. Болезнь Елисеева привела к тому, что вместо «триумвирата» у кормила «Отеч. Зап.» стоял дуумвират, состоящий из Салтыкова и Михайловского. А между тем Салтыков, несмотря на свою резко выраженную индивидуальность, на ворчливость и мнительность, доставлявшие нередко тяжелые переживания тем, кому приходилось иметь с ним дело, был человеком, в полном смысле этого слова, «компанейским», или «мирским», как называет его в своей книжке о нем Кривенко. Он любил, а временами чувствовал прямо-таки насущную необходимость посоветоваться с людьми, чьим мнением дорожил, чьей опытности верил, а прежде всего, разумеется, со своими сотоварищами по редакции. Уже болезнь, и тем более смерть Некрасова, наиболее искушенного в нелегкой науке проведения утлой журнальной ладьи между цензурными сциллами и харибдами, повергла Салтыкова в состояние величайшей душевной тревоги и смятения, в основе которых лежала неуверенность в том, что «с потерей Некрасова» найдется «другой центр»... Другой центр, как известно, все-таки нашелся, но болезнь Елисеева, старого, еще от времен «Современника», соратника Салтыкова по журнальному поприщу вносила целый ряд неприятных осложнений. Салтыков мог

[1] Так, например, ни в журнальном тексте салтыковского очерка ни в текстах последующих изданий нет никаких упоминаний о том, что французские короли были «мазаны дурно» и «лишились своих мест».

иногда раздражаться на Елисеева, и следы этого раздражения мы находим в его переписке (так, в письмах к Михайловскому из Висбадена от 29 июня и 4 августа 1881 г. Салтыков называет Елисеева «стариком хитрым и недоброжелательным» и «коварным Григорием Захаровичем»),[1] но, вообще говоря, он не мог не сознавать, что Елисеев, этот, по выражению Шелгунова, «муж разума и совета», был незаменимым членом редакционной коллегии. Вследствие отсутствия Елисеева и все усиливавшихся недугов Салтыкова в редакции «Отеч. Зап.» возросло значение третьего младшего члена триумвирата Н. К. Михайловского, но отношения между ним и Салтыковым, может быть, вследствие большой разницы в возрасте, не были особенно близкими. Хотя, как бы подводя итог их более, чем пятнадцатилетнему знакомству, Салтыков и писал ему в 1885 г. (от 15 марта): «Вы были для меня одним из симпатичнейших и любимейших людей, но разность лет и моя болезнь препятствовали мне ближе сойтись с Вами», однако в процессе их совместной работы нередко бывали моменты, когда Салтыков, давая волю своему неудовольствию, делал Михайловскому заявления, в роде следующего: «даже в виду столь чрезвычайных обстоятельств Вы не сочли нужным повидаться со мной; хоть бы болезнь моя внушила Вам добрые чувства ко мне» (от 6 ноября 1878 г.)...

Тем не менее, в рассматриваемый период именно Михайловский был полноправным и наиболее авторитетным помощником и заместителем Салтыкова в редактировании «Отеч. Зап.». Об этом с полной убедительностью свидетельствуют многочисленные письма Салтыкова к Михайловскому, в особенности те из них, которые относятся к периодам его заграничного пребывания, например, к летним и осенним месяцам 1881 г.

Эти же месяцы Салтыков использовал на то, чтобы дать отклик на послепервомартовскую современность.

---

[1] Письма Салтыкова производят иной раз тяжелое впечатление обилием отрицательных суждений даже о тех лицах, с которыми сатирик находился в заведомо добрых отношениях. При оценке этих суждений нельзя упускать из виду, что во многих случаях они свидетельствуют не столько о действительном отношении Салтыкова к тому или другому лицу, сколько о присущей ему манере раздраженно ворчать и браниться...

Если в «Письмах к тетеньке» дана яркая картина этой современности вообще, то в 6-й главе «За рубежом» изображено, надо думать, непосредственное впечатление от события. Салтыков определяет его словом «тоска», и, выявляя его источник, упоминает о «берегах Пинеги и Вилюя», этих обычных местах ссылки русских революционных деятелей, а затем рисует образ до-нельзя перепуганного и всеми оставленного русского либерала, губы которого, однако, «по привычке шепчут»: «в надежде славы и добра» (намек на начало нового царствования), образ консерватора-г а д а, который, потирая руки, «проектирует меры по части упразднения человеческого рода», и, наконец, образ «торжествующей свиньи». Свинья, чавкающая правду, под сочувственный «грохот толпы», — вот результат 1 марта, по Щедрину. Раньше можно было надеяться, согласно поговорке, что «бог не попустит—свинья не съест», теперь же реакция так усилилась, что сомневаться в том, что «свинья съест», — не приходится.

В связи с болезнью, а также с общей политической конъюнктурой, настроение Салтыкова, конечно, было в достаточной степени пессимистическим (так, напр., в письме к Белоголовому от 11 июня 1881 г., уже из Висбадена читаем: «такой тоски, такого адского отвращения к жизни я никогда не испытывал»...), но особых неприятностей со стороны цензуры, по крайней мере, в ближайшее время, он не ждал, что не мешало ему, конечно, проявлять в отношении ее сугубую бдительность.

Цензура, действительно, не подавала особых поводов к тревоге. Однако, это затишье было затишьем перед бурей. Виновником ее суждено было сделаться самому Салтыкову. Работая уже над первыми «Письмами к тетеньке», Салтыков не мог отделаться от «страхов» при мысли об их прохождении через цензурные фильтры. Однако, и первое «Письмо к тетеньке», напечатанное в июльской книжке, и второе — в августовской — сошли благополучно, несмотря на то, что сатирик взял в них в общественном отношении довольно высокую ноту.

Читатель не забыл, что в первом письме дается блестящая характеристика послепервомартовской эры, как времени, когда важнее всего и нужнее всего позабыть о «бреднях» недавнего прошлого. «Забыть о бреднях» и «сидеть смирно»— это, по Щедрину, — единственный шанс спастись от «управы

благочиния», которая, конечно, приняв во внимание наш образ мыслей нынешний (какой, с божьей помощью, поворот!)», может сдать «наше дело в архив», но может и записать содеянное «в книгу живота», и тогда надо ожидать наихудшего.

Несколько бледнее второе письмо (не даром в письме к Михайловскому от 4 августа, Салтыков жаловался, что не может найти «настоящих слов», и что благодаря этому «последние статьи вышли вялые»), но и в нем есть незабываемые по своей яркости суждения о современном лганье и причинах, его породивших. Если одним из «знамений» современной жизни, «жизни испуганной, перевернутой вверх дном, замученной, мечущейся под гнетом паники», является, по Щедрину, отречение от «бредней» и «заблуждений», то другое ее знамение заключается в том, чтобы «внушать доверие». Вернейший путь к этому — лганье. «По существу, — говорит старик, — современное лганье коварно и в то же время тенденциозно. Оно представляет собою последнее убежище, в котором мудрецы современности надеются укрыться от наплыва развивающихся требований жизни; последнее средство, с помощью которого они думают поработить в свою пользу обезумевшее под игом злоключений большинство... Нынешний лжец... лжет потому, что по нынешнему времени нельзя назвать правду по имени, не рискуя провалиться сквозь землю... Мне кажется, что в последних, подчеркнутых мною, словах заключается вся разгадка современного лганья. Прежде мы лгали потому, что была потребность скрасить правду жизни; нынче — лжем потому, что боимся притронуться к этой правде. Как-будто в самом воздухе разлито нечто предостерегающее: «Смотри! только пикни! — и все эти основы, краеугольные камни и величественные здания — все разлетится в прах!». В заключительной части письма Щедрин весьма недвусмысленно указывал, что лганье особенно необходимо для успокоения трудящихся масс. «Стонут древляне, оголтели радимичи, а корела даже не помнит, с которых пор одной пушниной питается. Надо утешить и их: успокойся корела! дай только с основами управиться, и все будет: и мамон чистым хлебом набьешь и недоимки очистишь! Покуда корела верит в страшные слова... надо пользоваться ее простодушием. Надо, чтоб

она постоянно видела впереди благополучные перспективы, всеминутно верила, надеялась и ждала». . .

Как бы то ни было, и первое и второе «письма» проскочили. Гроза разразилась при попытке напечатать третье. Дело в том, что в третьем письме Салтыков решился коснуться весьма щекотливого по тем временам вопроса, а именно вопроса о деятельности «Священной дружины», сведения о которой, совершенно случайно и, надо думать, неожиданно для себя, он получил во время своего последнего пребывания в Висбадене в июле 1881 г. от самого гр. Лорис-Меликова, впавшего в то время в опалу и покинувшего вследствие этого пределы России. В чем была суть сообщенного Лорис-Меликовым Салтыкову, об этом можно судить по письму последнего к его ближайшему другу и постоянному адресату, д-ру Н. А. Белоголовому, от 29 июля (см. в книге Вл. Розенберга «Журналисты безвременья», стр. 54). «Сегодня Лорис-Меликов, — читаем мы здесь, — сообщил мне следующее. В Петербурге. . . учреждена дружина спасения, цель которой есть исследование и истребление нигилизма, не останавливаясь даже перед устранением таких личностей, как Гартман, Кропоткин и т. д. Дружина организована в виде тайного общества, . . . так что одна пятерка не знает другую, но все повинуются известному лозунгу. Пятерки эти рассеялись за границей, так что Лорис-Меликова убеждают быть осторожным. Сообщая мне об этом, армянин присовокупил: «Наверное уж донесли обо мне, что я с Вами и с Кошелевым виделся». Вы можете себе представить, как мне было приятно слышать это. Он-то отделается тем, что на него будут дуться, а мне, пожалуй, и перепадет кое-что». В этом своем предположении Салтыков не ошибся: ему, действительно, перепало, но не от добровольцев-охранников и не от полицейских властей, а от цензуры. 16 сентября цензурный комитет направил в главное управление по делам печати бумагу, подписанную председательствующим Ведровым, в которой сообщал о том, что цензор, рассматривавший сентябрьскую книжку, на этот раз не Лебедев, а его временный заместитель, обратил внимание комитета на третье «Письмо к тетеньке», как изображающее сатирически «настоящее положение общества». Хотя цензор полагал ограничиться доведением об этой статье до сведения главного управления, но комитет большинством семи голосов против четырех постановил «подвергнуть книгу аресту, если не будет исключена

статья Щедрина». Министр внутренних дел склонялся, повидимому, первоначально к компромиссному решению вопроса; из резолюции, положенной на донесении комитета, видно, что он считал возможным пропустить статью Щедрина в несколько измененном виде. Но на него, очевидно, было оказано сильное воздействие, заставившее его изменить свою первоначальную точку зрения.

В моем распоряжении имеется второе донесение цензурного комитета в главное управление по этому же делу, составленное в совершенно необычных для подначальной инстанции, какою он являлся, выражениях. Это донесение, выявляющее настроение тогдашних охранителей, я считаю нелишним привести полностью:

«Цензор,[1] наблюдающий постоянно за бесцензурным журналом «Отеч. Записки», донес, что по прочтении статьи Щедрина «Письма к тетеньке», предназначавшейся для сентябрьской книжки, он пришел к заключению, что статья эта подлежит уничтожению в целости и что исключение нескольких более или менее резких мест, отличающихся нахальностью, едва ли может устранить тот возбуждающий характер статьи, которым она отличается. Цензор указывает, прежде всего, на направление статьи, имеющее целью представить общественное положение России в самом мрачном виде и предать позору и, если позволено так выразиться, оплеванию все меры честных людей, стоящих на стороне правительства и готовых к борьбе с враждующими элементами. И прежде Щедрин не стеснялся в выборе сюжетов и способе выражения, но настоящее время, по мнению цензора, слишком серьезно, чтобы, увлекаясь неуместным юмором, позволять себе подливать масло и возбуждать страсти выставлением не только со смешной, но и с ненавистной стороны стремления охранительной партии к водворению спокойствия и нормального положения в нашем отечестве.

Существует ли в действительности или не существует общество частной инициативы спасения — это совершенно безразлично; достаточно, что автор всякую мысль об основании подобного общества предает поруганию, что лиц, готовых принять деятельное участие в этом обществе, называет Ноздревыми и Расплюевыми, т.-е. причисляет к типам крайнего

---

[1] Это был уже Лебедев, вернувшийся к исполнению своих обязанностей.

нравственного безобразия. Цензор предвидит, что читающая публика, привыкшая к условному языку автора, станет указывать пальцами и разгадывать, кого автор разумеет под именами князя Сампантре и Амалат-Бека, знакомого лишь с наукою о подмывании лошадям хвостов.

И помимо этих соображений цензор находит совсем несвоевременным теперь тревожить общество, предсказывая возможность учреждения какого-то тайного общества с целью, посредством доносов и шпионства, следить за гражданами и их поступками.

Если начальство признает дозволить эту статью только с исключением названия «Общество частной инициативы спасения» и фамилий — князя Сампантре и Амалат-Бека, автор, без сомнения, охотно на это согласится, так как в статье Щедрина и по исключении этих мест останется главное, о чем он хлопочет, а именно, останется описание того безотрадного положения общества, в котором будто бы честным людям, независимым характерам, лицам с гражданскою доблестью, нет места, и что в данное время исключительное господство предоставлено стихийной силе, или, как выражается автор, одним городовым.

Не подлежит сомнению, что статья Щедрина, будучи дозволена, сделается достоянием всей нашей периодической печати. Выписки из нее будут помещаемы нарасхват в критических отделах наших ежедневных газет.

На основании вышеприведенных соображений цензор Лебедев находит, что устранение некоторых мест статьи Щедрина весьма мало изменит ее значение и что все «Письмо к тетеньке» должно быть исключено.

Таково было и первоначальное заключение С.-Петербургского цензурного комитета, состоявшееся по большинству голосов и представленное на благоусмотрение главного управления по делам печати. Хотя в ответ на это представление главное управление уведомило комитет (предл. от 16 сентября за № 3621) о состоявшемся предложении г. министра внутренних дел, коим признавалось возможным сохранить статью Щедрина, сделавши в ней некоторые изменения, комитет, при всей готовности исполнить предписание начальства, осмеливается почтительнейше доложить вашему сиятельству, во-первых, что учреждение общества частной инициативы спасения, известное не из официальных источников, а только по слухам, принадлежит к числу внутренних и неподлежащих

оглашению событий августейшего дома; во-вторых, что личный состав этого общества, включающего в себя быть может и членов августейшего семейства, не может быть ни оглашен, а тем менее подвергаем позору и осмеянию, и что вследствие сего статья Щедрина не может быть опубликована без установленного законом предварительного одобрения министра императорского двора».

Донесение комитета датировано 2 октября, а в письме к Елисееву от 18 октября Салтыков рассказывает о своей беседе по поводу вырезанной статьи с министром. «Я получил приглашение явиться к министру внутренних дел, и именно сейчас только-что от него приехал. Граф Игнатьев принял меня крайне любезно и объяснил, почему он считал невозможным пропустить третье «Письмо к тетеньке»,— так как оно возбудило бы столько неудовольствий, против которых он ничего не мог бы сделать. Между прочим сказал, что давал читать это письмо государю, и государь, ничего не имея по существу, тем не менее согласился, что печатание письма было неуместно и возбудило бы много неудовольствий». Затем Салтыков сообщил Елисееву, что он «этим свиданием очень доволен» еще и потому, что в ответ на прямой вопрос его, «в чем заключается социалистическое направление», в котором обвиняются «Отеч. Зап.», министр только и мог указать на то, «что подследственные политические беспрестанно ссылаются на статьи из «Отеч. Зап.». Очевидно, «довольство» Салтыкова проистекало из сознания, что если бы министр был серьезно предубежден против журнала, он говорил бы с ним в совершенно ином тоне. Впрочем из оброненного в том же письме и подводящего итог впечатлениям от свидания с министром замечания: «не ручаюсь, чтобы тут не участвовала дипломатия», явствует, что любезность Игнатьева далеко не вполне рассеяла салтыковский скептицизм. Как бы то ни было, третьим «Письмом к тетеньке» пришлось пожертвовать. Оно было напечатано в том же 1881 году на страницах зарубежного журнала «Общее дело», издававшегося А. К. Христофоровым, совместно с другом Салтыкова доктором Н. А. Белоголовым. Итак, и сентябрьская и октябрьская книжки «Отеч. Зап.» вышли без статей Салтыкова. Под впечатлением случившегося ему приходили в голову самые пессимистические мысли. Так, в письме его к Белоголовому читаем: «Извините, что давно не писал. Я нахожусь в таком состоянии угнетения, как редко

бывало. Кажется, придется литературу совсем бросить и, разумеется, и редакцию. Да, нынче не прежние времена. Нынче так дело ведется, чтобы всякий сам бросил... Право, хоть бы поскорее умереть»...

Бросил ли Салтыков готовые «Письма», переделал ли их, написал ли новые, но в №№ 11 — 12 «Отеч. Зап.» 1881 г. печатание «Писем к тетеньке» возобновилось. «Письмо», названное третьим [1] и появившееся в ноябрьской книжке журнала, не вызвало никаких отголосков в цензурных инстанциях, что объясняется сравнительною безобидностью его содержания, [2] в значительной своей части посвященного рассказу о доморощенной «какетке» (кокотке) Домне, Ератидушке то-ж, которая специализировалась на обслуживании гостинодворских купцов и на накопленные деньги собирается купить имение «тетеньки», где ее мать была крепостной. Зато четвертое, по журнальному счету, письмо снова встревожило цензурных аргусов.

«В этом четвертом письме к тетеньке, писал цензор Лебедев, Щедрин в форме сатиры описывает роль земских людей, которую они хотят разыгрывать в России, их претензии первенствовать в государственном строе и тщету этих стремлений вследствие неразвитости, беспутства и эгоизма этих людей».

Доклад Лебедева был принят цензурным комитетом к сведению, и дело закончилось более или менее благополучно: даже не письменной, а устной заявкой начальнику главного управления по делам печати. В виде необходимого комментария к данному эпизоду, следует отметить, что декабрьское «Письмо к тетеньке» было вдохновлено книгой генерала Р. А. Фадеева «Письма о современном положении России», изданной в 1881 г. в Лейпциге и переизданной в 1882 г., тенденция которой была глубоко антипатична Салтыкову, очень хорошо разбиравшемуся в истинной природе цензового земского самоуправления и находившему, что помещичьи и буржуазные элементы, объединившись под знаменем «земщины», в роли эксплуататоров крестьянских масс представят

---

[1] В собрании сочинений Салтыкова оно помещено как «четвертое».

[2] Салтыков с присущей ему скромностью в письме к Белоголовому от 19 октября называет его несколько «глуповатым», добавляя: «ничто иное нынче не по сезону. А писать надо, хотя бы для того, чтобы заявлять, что курилка жив».

не меньшую, а, может быть, большую опасность, чем царская бюрократия.

«Всякая минута, — писал сатирик в этом изумительном по яркости и силе «Письме», — имеет свою опасность, и в настоящую минуту эту опасность представляет Никанор Дракин. Он слишком суетится, слишком назойливо стремится выказать Сквозника-Дмухановского в смешном свете, чтобы можно было сомневаться, что ему хочется вскочить на место последнего. Но при этом он совсем не на том настаивает, что, в случае успеха своей затеи, пойдет разными путями с Сквозником-Дмухановским, а только на том, что он превзойдет его. И он действительно превзойдет. Вот это-то и нужно непременно иметь в виду, ибо ежели надоел Сквозник-Дмухановский, то Дракин, с своим желанием «превзойти», надоест вдвое больше... Я знаю, что и Сквозник-Дмухановский не бог знает какое сокровище (помните, как слесарша Пошлепкина его аттестовала!), но зачем же возводить его в квадрат в лице бесчисленных Дракиных, Хлобыстовских и Забиякиных. Помилуйте! нам и одного его по горло было довольно».

Хотя, таким образом, опасения, несколько ранее выраженные Салтыковым о том, что «Письма к тетеньке» придется бросить, не оправдались, тем не менее, в исходе 1881 г. он, попрежнему, находился в крайне пессимистическом настроении. Более всего его угнетал, конечно, тот реакционный курс правительственных верхов, который все более и более определялся и устанавливался. С другой стороны, на настроение Салтыкова влияла некоторая тревога за себя. От 23 ноября он писал Елисееву: «Разнесся слух, будто бы меня из Петербурга выслали, все равно как два года назад, будто бы обыск у меня был. Конечно, мне очень неприятно быть героем таких слухов, но ничего не поделаешь... Однако-ж, я все продолжаю писать... но должен вам сознаться, что ремесло это начинает мне до такой степени постылеть, что иногда хоть в воду. Всему есть предел»... Если принять во внимание, что эти горькие признания вырывались из уст писателя, страстно, до самозабвения преданного литературе, то станет понятным, каково должно было быть в это время душевное состояние Салтыкова... И все-таки, превозмогая душившую его тоску, он твердо продолжал стоять на своем литературном и журнальном посту...

В 1882 г. печатание «Писем к тетеньке» продолжалось, при чем «Письма» не переставали возбуждать самое пристальное, а вместе с тем и недоброжелательное внимание цензурных инстанций, как об этом свидетельствует хотя бы нижеследующий отзыв цензора Лебедева о пятом (по журнальному счету) письме, помещенном в № 1 «Отеч. Зап.» за 1882 г.[1]

«Это пятое письмо написано в том же пессимистическом духе, как и предыдущие; и в нем Щедрин старается представить жизнь в настоящее время в России в самом мрачном виде, почти невозможною для порядочного, мыслящего человека. Русское общество представляется им кишащим шпионами, соглядатаями, лицами, содействующими кому-то и чему-то; лицами, которые, прикрываясь патриотическими стремлениями, готовы предать всякого, не разделяющего их точки зрения. Хуже всего то, что в очерке своем автор говорит так темно и двусмысленно, что трудно догадаться, кого он обвиняет в таком растленном состоянии общества: — само ли общество, так низко падшее, или правительство, будто бы поощряющее эти непривлекательные стороны натуры человеческой; кажется, он считает одинаково виновным и то и другое, и боится только высказаться определеннее.

Входя в более подробное описание того гнета, который будто бы давит общество, он между прочим говорит (стр. 258 — 259), что не знаешь, какой ногой ступить, какое слово молвить, какой жест сделать, чтобы не подстерег везде «мерзавец» и чтобы навстречу не шла вся бесшабашная смесь глупости, распутства и предательства под покровом содействия, смесь, которая во имя этого содействия безнаказанно отравляет всякое человеческое существование. Неужели, восклицает автор, не исчезнут с лица земли эти пустомысленные риторы, эти лицемерствующие фарисеи, все эти шипящие

---

[1] Салтыков, повидимому, не предполагал, что пятое «письмо» может навлечь новые обвинения и на него и на «Отеч. Зап.»; из писем его к Н. К. Михайловскому видно, что он опасался за статью Михайловского (в № 1 за 1882 г. была помещена статья «Герои и толпа»). В письме от 13 ноября он просил Михайловского «выкинуть те места, которые отмечены в прилагаемой корректуре», а в декабрьском (без даты) письме просил его иначе расположить материал в ней, т. к. «чем более думает об его статье, тем более убеждается, что люди грубые и злонамеренные непременно привлекут сюда Каракозова, Рысакова и проч. А это может повести за собой не одну вырезку статьи, но и нечто большее».

гады, которые с такою назойливой наглостью наполняют современную атмосферу миазмами смуты и мятежа и все будут продолжать обвинение в «бреднях», хотя уже много лет минуло с тех пор, как эти бредни были, да быльем поросли?! По его мнению, мы до того низко упали (стр. 260), что нигде, кроме навозной кучи, не чаем найти жемчужного зерна; что мы до такой степени и так искренне ошалели, что если бы вновь появились в эту минуту Шиллеры, Байроны, Данте, говорившие человеку о свободе и напоминавшие ему о совести, то мы не обинуясь причислили бы их к лику «мошенников пера» и «разбойников печати». Что не в этих светилах нуждается настоящая Россия, а в городовых, которых обязанности заключаются не только в том, чтобы стоять на своих постах, но чтобы проникать и в мир человеческой совести. История назовет настоящее время ямою, в которой кишели бесчисленные гадюки, источавшие яд, которого испарения полностью заразили всю атмосферу; она засвидетельствует, что и последующие поколения бесконечно изнывали в борьбе с унаследованной заразой и только ценою мучительных усилий выстрадали себе право положить основание делу человечности и любви. К довершению бедствий ябеда, говорит автор, взволновавшая и развратившая общество, постепенно вторгается и в семью (стр. 261), она грозит порвать завещанный преданием связующий элемент и, вместо него, посеять в сердцах одних — ненависть, в сердцах других безнадежность и горе. Эта угроза очень серьезна, потому что ежели еще есть возможность, при помощи уличных перебеганий и домашних запоров, скрыться от общества живых людей, то куда же скрыться от семьи. Семья это «дом», это центр жизнедеятельности человека, это последнее убежище, в которое он обязательно возвращается отовсюду, куда бы ни призывали его профессия и долг. Далее этого убежища ему некуда итти. Какое же чувство он должен испытывать, если даже тут, в этой крепости, его подстерегают то же предательство, та же свора, от которой он едва унес ноги на улице. И вдобавок свора, значительно обостренная, потому что никто не сумеет так всласть обострить всякую боль, как люди, отравляющие друг другу жизнь «по-родственному».

Хотя цензурный комитет и не настаивал на аресте книжки, но его донесение, весьма возможно, могло бы иметь неприятные последствия для журнала, если бы не вмешательство в пользу Салтыкова одного из сравнительно терпимых членов

совета главного управления В. М. Лазаревского, которому вопрос был передан на заключение.

Цензурный гнет, хотя и усилившийся, не мог помешать успеху «Отеч. Зап.» у читающей публики. Успех этот продолжал расти: к 8 февраля подписчиков было уже 8 500, и февральскую книжку, принимая во внимание непрекращающийся рост подписки, пришлось печатать в 10 500 экземпляров. Но настроение Салтыкова не улучшалось. «Мертвая и загадочная тишина» (выражение Салтыкова, в одном из писем его к Белоголовому), которой он, кстати сказать, уделил так много внимания и в «Письмах к тетеньке» (например: «тихо, тетенька; чересчур уже тихо... словно сама жизнь как-будто оборвалась»...), тишина, столь характерная для «игнатьевской эры», когда реакция точно собиралась с силами, чтобы пойти в решительную атаку на еще не вполне ликвидированные достижения так называемой «эпохи великих реформ», — его не обманывала. Все приводило его к убеждению, что эта «тишина перед бурей», тем более, что и тишина была довольно-таки относительной: время-от-времени и при Игнатьеве налетали грозные шквалы, взять хотя бы издание «Положения об усиленной и чрезвычайной охране» (14 августа 1881 г.) и непрекращавшиеся кары против печати.

Предчувствием грядущих бед и объясняется прямо-таки трагический тон некоторых писем Салтыкова начала 1882 г. Так, в письме к Тургеневу от 13 февраля он заговаривает о самоубийстве, а неделею позже в письме его к Елисееву (от 28 марта) звучит уже настоящий «вопль»: «Проклятие на нас и на детях наших! Мне кажется, что ни в одной стране такого исторического момента не бывало... Как ни тяжко работать, все же работать приходится, ежеминутно ожидая удара и себе и делу». «И это целых четырнадцать лет мы эту каторгу с Вами ведем! Подумайте, нормально ли это? По-моему нет жестокости горше этой» — таковы заключительные слова этой безотрадной тирады.

IX.

Чувство томления, боязнь надвигающегося удара недаром тяжким бременем лежали на психике Салтыкова: в мае 1882 г. гр. Игнатьев покинул пост министра внутренних дел, и на его место был назначен реакционнейший из государственных деятелей той эпохи гр. Д. А. Толстой, оставивший после себя

такую печальную память в качестве министра народного просвещения. На эту перемену Салтыков, прежде всего, откликнулся в письмах к Белоголовому (от 8 июня) и к Тургеневу (от 9 июня). В первом из них Салтыков пишет:

«Главное, торжество Каткова чересчур уже позорно. И что еще позорнее — это то, что первые удары непременно падут на литературу. Скажите, есть ли в мире государство, где бы положение литературы было столь постыдно?»... В письме к Тургеневу к аналогичным жалобам на торжество Каткова присоединен бесподобный по своему юмору рассказ о том, что даже «Андрей Краевский (o tempora, o mores!)», чувствуя себя либералом, высказывает такие «предики»: «не то, дескать, жалко, что нас с вами могут водворить — что мы! — Россию жалко — вот что! Согласитесь, что Андрей, жалеющий Россию — явление в высшей степени курьезное... Покачивается сивый мерин в качалке и сокрушается»...[1]

«Факты», выявляющие отношение нового министра к «Отеч. Зап.», не заставили себя ждать. Собственно еще накануне назначения Толстого случилась история, лишний раз подчеркнувшая шаткость положения «Отеч. Зап.». В майской книжке Салтыков попробовал напечатать, в виде особой статьи, под заглавием «Маленькое величие», рецензию С. Н. Кривенко на «Историю политических учений» Чичерина (в «Сборнике государственных знаний»), уже однажды вырезанную цензурой из «Отеч. Зап.». Цензурный комитет, в заседании 15 мая, по докладу цензора Лебедева, нашел, что статья эта, изложенная «в духе поклонения теориям Лассаля и осмеяния охранительных начал Чичерина», «прямо указывает на сочинения Лассаля и Маркса, как на последнее слово социальной науки и тем как бы рекомендует читателям их теории, что в ней приводится много заглавий сочинений Лассаля, у нас запрещенных», что посредством нее «распространяется вредное социалистическое учение» «в настоящее время», когда «социалистические утопии и без того встре-

---

[1] Напоминаем читателям, что Андрей Александрович Краевский считался среди передовых журналистов того времени воплощением угодничества и умения приспосабливаться. Его газета «Голос» все же не лишена была налета либерализма. Сокрушение Краевского оказалось пророческим: в 1883 г. «Голос» прекратил свое существование, сделавшись жертвою крайне стеснительных «временных правил о печати», утвержденных в августе 1882 г. комитетом министров, по докладу Д. А. Толстого.

чают сочувствие молодого поколения», а потому принял постановление об аресте майского номера «Отеч. Зап.». Вопрос, таким образом, ставился очень серьезно: «Отеч. Запискам» инкриминировалось не более не менее, как «распространение вредного социалистического учения» и теорий Лассаля и Маркса. Однако, исправляющий должность начальника главного управления кн. Вяземский признал возможным предложить редакции исключить статью «Маленькое величие», и только в том случае, если редакция этого не исполнит, арестовать книжку. Салтыкову, конечно, ничего не оставалось, как согласиться.

Для характеристики бытовой стороны отношений цензурного начальства и пишущей братии, не безынтересно ознакомиться с нижеследующей запиской председателя цензурного комитета А. Петрова на имя одного из его чиновников: «Покорнейше прошу г. Велене съездить к господину Михаилу Евграфовичу Салтыкову (живущему на Литейной, третий дом от Невского проспекта по правую руку, кажется Красовского, где живет Победоносцев, обер-прокурор Синода) и просить его подать заявление по прилагаемому образцу, принять назад представленные экземпляры майской книжки (к которым я приложил и свои), приказать возвратить выданную квитанцию и сделать распоряжение по типографии об исключении статьи, вставке новой и невыпуске книжек, отпечатанных со статьей.

Я вчера лично был в 10 час. у Лихачева, виделся там с Салтыковым, и он обещал мне все это сделать, и дал на предписании князя подписку в исключении статьи. Но мы обязаны следить за исполнением обещания, донося начальству. Будьте вежливы с Салтыковым. Он, разумеется, посетует на недоверие.

Приезжайте уведомить меня о последствиях».

Летние месяцы 1882 г. прошли для «Отеч. Зап.» довольно благополучно, вероятнее всего потому, что лето, по издавна утвердившимся традициям, — мертвый сезон в общественной и, в частности, в журнальной жизни. Летом страницы журналов обычно заполняются материалом, который признается малоходовым, второстепенным, т.-е. не слишком важным по существу, а главное неспособным вызывать к себе повышенный интерес в читательских кругах. Но с осени 1882 г. цензурный обстрел «Отеч. Зап.» начался в довольно интенсивной форме, при чем главной, почти исключительной, мишенью его

являлась сатира Щедрина. Начало этот обстрел учреждение, авторитет которого всегда стоял очень высоко в русской жизни, а в реакционные эпохи вырастал непомерно, — департамент полиции. Сентябрьская книжка вызвала нижеследующее отношение департамента от 2 октября 1882 г., за подписью В. К. Плеве, на имя начальника главного управления.

«В последней (сентябрьской) книжке «Отечественных Записок» помещен новый очерк Щедрина под заглавием «Современная Идиллия», в котором осмеиваются некоторые отрицательные стороны современного порядка вещей.

Не отрицая прав сатиры на бичевание таких общественных явлений, которые с ее точки зрения представляются нежелательными, департамент государственной полиции не мог, однако, не обратить внимания на два места этого очерка: описание геральдического знака страны зулусов (стр. 222 и 223) и повествование о порядке управления сей страны (стр. 235), так как, по мнению департамента, в них содержатся, во-первых, оскорбление величества и, во-вторых, суждения, неудобные с правительственной точки зрения о направлении современной внутренней политики.

В виду сих замечаний департамента государственной полиции господин министр изволил приказать мне просить ваше превосходительство переговорить с ним по этому поводу при сегодняшнем докладе.

Не успев исполнить это поручение лично, позволяю себе передать содержание его вашему превосходительству путем настоящего письма».

Содержание этого письма таково, что оно могло бы иметь очень тяжелые последствия для «Отеч. Зап.». Но гр. Д. А. Толстой предпочел на этот раз обойтись без репрессий в отношении журнала, о чем свидетельствует следующая отметка на полях приведенного документа: «Министр изволил приказать оставить без принятия каких-либо мер».

Какими соображениями в данном случае он руководствовался — догадаться нетрудно. Те места в содержании «Современной Идиллии», на которые ссылался департамент полиции, несмотря на свою несомненную язвительность, едва ли могли дать сколько-нибудь приличный повод для преследования журнала. Доказать, что, говоря о «Зулусии», Салтыков имел в виду Россию, было невозможно, хотя в то же время едва ли кто-либо из читателей мог сомневаться, что

введение «Зулусии» должно быть всецело отнесено к тем «эзоповским» приемам, с помощью которых писателям второй половины XIX века удавалось иногда провозить на своих журнальных ладьях контрабанду вольных мыслей и идей. В целях всестороннего разъяснения данного эпизода приведу оба инкриминируемых места в содержании «Современной Идиллии» (гл. XII и XIII). Изображая свадебный пир в доме содержанки купца Парамонова Фаинушки, автор в числе присутствовавших на нем рисует и ее бывшего любовника «странствующего полководца Редедю», который недавно возвратился из страны Зулусов, где воевал с англичанами. «Сюртучок на нем, — говорит сатирик, — был снежной белизны, а на светло вычищенных пуговицах красовался геральдический знак страны зулусов: на золотом поле взвившийся на дыбы змей боа, и по бокам его скорпион и тарантул. По толкованию Редеди, аллегория эта обозначала самого владыку зулусов (змей) и двух его главных министров: министра оздоровления корней (скорпион) и министра умиротворений посредством в отдаленные места водворений (тарантул)».

Здесь департаментом полиции было усмотрено «оскорбление величества»; неудобные же суждения о направлении «современной внутренней политики» он увидел в рассказе Редеди о государственном строе Зулусии, в частности в нижеследующем диалоге:

«— А внутренняя политика у них есть?

— И внутренней политики настоящей нет, а есть оздоровление корней. Тут и полиция, и юстиция, и народное просвещение — все. Возьмут этак «голубчика» где почувствительнее, да и не выпускают, покуда всех не оговорит»... и т. д.

Так как отзыв департамента полиции о «Современной Идиллии» — только первое звено в длинном ряду цензорских нападений на нее, то не лишнее будет, прежде чем перейти к этим последним, несколько остановиться на истории этого замечательного произведения. Первые главы «Современной Идиллии» были напечатаны в №№ 2, 3 и 4 «Отеч. Зап.» за 1877 г.; затем после годового почти перерыва, печатание ее возобновляется в весенних (мартовской и апрельской) книжках 1878 г. К этому времени «Идиллия» была доведена до XII главы. И снова наступает перерыв, на этот раз очень продолжительный, с апреля 1878 г. по сентябрь 1882 г., т.-е. в четыре с лишним года. Салтыкову, повидимому, просто изменила память, когда он в письме к Белоголовому

от 7 июля 1882 г., сообщая о своем намерении вернуться к «Современной Идиллии», работу над ней называл «года два назад прерванной». Вернулся к «Современной Идиллии» и придал ей то направление, которое она получила во второй своей половине, Салтыков, конечно, не случайно.

Под впечатлением того, что происходило вокруг, его творческим воображением овладел образ шпиона, значение которого так осязательно почувствовали российские обыватели после 1 марта, в особенности с назначением на пост министра внутренних дел гр. Д. А. Толстого. Этот образ, символизирующий крайнюю степень как политической реакции, так и общественной деморализации, положительно преследовал Салтыкова. В августовских письмах из Ораниенбаума, где сатирик проводил лето, к Белоголовому, Елисееву, Михайловскому повторяется одна и та же жалоба, выраженная одними и теми же словами: «нового у нас ничего. Все тихо и благополучно; одно неприятно — шпионов много... Говорят, даже в купальнях и в заливе есть. Вы купаетесь... и вдруг начнет вокруг шпион нырять и политические разговоры разговаривает... И что всего важнее, шпион доброволец... Здесь, в Ораниенбауме, целый отряд добровольцев стоит — и, представьте себе, даже паспорта ревизует...».

В особенности возмущало Салтыкова, что столь расплодившиеся шпионы добровольцы избрали своим объектом молодежь, в частности учащуюся молодежь. В письме к Анненкову от 1 ноября он говорит о циркулярном приглашении некоего «Центрального Общества борьбы против террористических учений», в котором молодежи «обещается известное обеспечение, прекращение преследований, возможность жить за границей». «Как вам кажется эта попытка воспитать молодежь на шпионстве? — спрашивает негодующий Салтыков своего корреспондента. Кстати, еврей Поляков устроил, так сказать, целый рассадник молодых шпионов» (намек на устройство студенческого общежития при СПБ. Университете — так называемой «Коллегии императора Александра II»).

Циркулярное приглашение, о котором здесь упоминается,— одно из измышлений «Общества борьбы против террора», все той же «Священной Дружины». В свое время был напечатан весьма любопытный рассказ В. Л. Бурцева, состоявшего в 1882 г. студентом СПБ. Университета, о том, что после того, как эти «прокламации были разбросаны, один из его

товарищей пошел к Салтыкову и сказал: «Михаил Евграфович! Посмотрите, что они с нами делают. Отзовитесь». Щедрин, безнадежно махнув рукой, сказал, что цензура ничего не даст напечатать по этому поводу»...

И тем не менее, все-таки отозвался.

В своем отклике он не ограничился тем, что изобразил купающихся шпионов (гл. XIV), что задел «Общество Взволнованных Лоботрясов» (гл. XXIV), все содержание «Совр. Идиллии», особенно второй ее половины, является откликом на позорные времена, которые переживала тогда Россия. Со свойственной ему принципиальностью Салтыков в «Совр. Идиллии» поставил вопрос широко, а вместе с тем и очень резко.

«Нет, как хотите, читаем в XIX гл., а даже в сфере ябеды торжествующая современность заявляет себя не только несостоятельною, но просто глупою. Я знаю, что система, допускающая пользование услугами заведомых прохвостов, в качестве сдерживающей силы относительно людей убеждения, существует не со вчерашнего дня, но, по моему мнению, давность в подобном деле есть прецедент по малой мере неуместный. В сущности, это совсем не система, а злодейство... Ябеда существовала искони в качестве подспорья, но она вращалась в известной сфере, ограничивалась данным кругом явлений и редко выходила за пределы своей специальности. Ныне она обмирщилась, расползлась, утратила всякое представление о границах и мере—и что всего важнее—захватила в свои тиски обиход «среднего» человека и на нем по преимуществу сосредоточила силу своих развращающих экспериментов»... Тот же мотив в сказании о «властителе дум» (гл. XX), каковым по Салтыкову является «негодяй», «призванный раздавить жизнь... упразднить убеждения, честность, правду, самоотвержение», поставивший «себе задачей наполнить вселенную гноем измены, подкупа, вероломства, предательства», прямо утверждающий, что «негодяйство — вот единственная почва, на которой человек может стоять твердо, на которой он может делать не мечтательное, а действительное дело». Под действительным же делом», негодяй разумеет «измену и предательство, прекращение жизни, возврат к мраку времен».

Этих немногих цитат из «Совр. Идиллии» достаточно, чтобы судить о значительности общественного смысла этого произведения. Неудивительно, что цензура накинулась на него

с яростью. Быть может, одним из стимулов, возбуждавших эту последнюю, было соревнование с департаментом полиции, отзыв которого о «Совр. Идиллии», конечно, не составлял секрета для деятелей цензурного ведомства. Как бы то ни было, принятый цензурным комитетом доклад цензора о XIX — XXI главах «Совр. Идиллии», помещенных в декабрьской книжке за 1882 г., составлен в довольно-таки угрожающем тоне:

«В этой статье автор более, нежели в предыдущих, старается представить положение русского гражданина, если он не из простолюдинов, в самом безвыходном положении, так как всякий желает усмотреть в нем социалиста и изловить его. Ни в столице, ни в деревне, ни в уездном городе нет этому гражданину спокойного и безопасного житья. Всюду он должен остерегаться, осматриваться и взвешивать каждое слово, чтобы не попасться. Простой народ, наученный своим ближайшим начальством наблюдать за подозрительными людьми, в каждом лице не из крестьянского сословия старается усмотреть человека вредного или, как он его называет, «сицилиста» и изловить его. Так на страницах 563 — 570 Щедрин подробно описывает, как его со всею компаниею, приехавшею к нему в имение Корчевского уезда, арестовали урядники, заподозрив и его самого и приезжих в неблагонадежности; как их связанных с позором вели через деревню в уездный город, как во время дороги глумились над ними крестьянские мальчишки и бабы и как в одной деревне их, людей ни в чем неповинных, хотели судить народным судом, т.-е. утопить в пруде. Кроме возбуждения такого рода картинами недовольства в обществе, Щедрин старается представить в самом безобразном виде и высшее начальство; проделки, приписываемые автором некоторым начальникам, могут твориться только идиотами. Например, в сказке о ретивом начальнике, стр. 549 — 553, рассказывается, как один начальник, получивший в свое управление край, старался применить к нему свою теорию: как можно больше делать вреда, на том основании, что из этого само собой должна впоследствии произойти польза, и как он при таком управлении, опустошив край и почти обезлюдив его, был крайне удивлен обратным результатом своей теории. Правда, он говорит, что это происходило давно, но не отрицает возможности такого управления и теперь.

Конечно, в литературном отношении статья Щедрина принадлежит к области сатиры, в которой многое допускается в виду назидательного значения сатиры, порицающей и осмеивающей порок и общественные недостатки. Но в рассматриваемой статье преобладает не эта сторона сатиры, а явно высказывается недовольство тем порядком, который водворился у нас вследствие последних горестных политических событий, и косвенный упрек правительству. Читатель невольно возбуждается против правительства описанием беззаконных действий его агентов, на которые оно смотрит как бы сквозь пальцы и с этой точки зрения цензор считает статью эту предосудительною и о содержании ее считает нужным донести главному управлению по делам печати».

Установив предосудительность «Совр. Идиллии», а также и двух стихотворений П. Якубовича под заглавием «Юноше», о которых, как о содержащих «в себе воззвание к молодым людям, чтобы они не падали духом, а боролись до конца», говорилось в заключительных словах донесения, цензор и цензурный комитет, с своей стороны, не предлагали никаких мер, а ограничивались «доведением до сведения главного управления по делам печати». Главное управление по делам печати на этот раз предпочло обойтись без репрессий. Быть может, здесь сыграло роль то обстоятельство, что подвиги сыщиков-добровольцев, в частности «Священной Дружины», в министерстве внутренних дел не встречали особого одобрения, так как чины министерства в их деятельности по борьбе с крамолой, естественным образом, видели нежелательную для себя конкуренцию. Хотя, таким образом, декабрьская книжка и проскочила через цензурные ущелья, но конец года все же для журнала ознаменовался обстоятельствами катастрофического характера. В декабре месяце, благодаря предательству Сергея Дегаева, министерство внутренних дел получило сведения о харьковском свидании Н. К. Михайловского с В. Н. Фигнер, на котором обсуждался вопрос о переговорах партии «Народная Воля» с правительством через посредство литератора Н. Я. Николадзе и председателя «Священной Дружины» гр. И. И. Воронцова-Дашкова, о поездке того же Николадзе в Женеву ко Льву Тихомирову с письмом С. Н. Кривенко и т. д. Н. К. Михайловский был одним из редакторов «Отеч. Зап.», С. Н. Кривенко, помещавший в журнале «Внутренние обозрения», взамен заболевшего Елисеева, стоял на стезе редактора, Н. Николадзе

тоже сотрудничал в журнале. Естественно, что в правительственных сферах должен был установиться взгляд на «Отеч. Зап.» как на своего рода очаг крамолы, тесными нитями связанный с «Народной Волей». Трагизм положения Салтыкова при данных обстоятельствах заключался в том, что он, повидимому, или вовсе не знал или знал очень мало о революционной деятельности своих ближайших сотоварищей. Потому-то он был так потрясен высылкой Михайловского, явившейся для него сущей неожиданностью. «На вечере у технологов. . ., читаем в письме Салтыкова к Елисееву (от 20 января 1883 г.), Михайловский произнес несколько слов, смысл которых заключался в том, что он не одобряет современного студенческого движения, но в смысле протеста находит его все-таки знаменательным. За эту речь многие студенты ему шикали, а начальство выслало на основании положения об охране. До сих пор я не хорошо понимал силу положения об охране, а теперь понимаю. Выходит, что начальство всякого, кого находит нужным, выслать может». . . Далее Салтыков переходит к мотивам, по которым он не подписал коллективного адреса-ходатайства с просьбой вернуть Михайловского: «во-первых, потому, что оно может повредить Михайловскому, а во-вторых, я лично вовсе не желаю выпускать перо из рук до тех пор, покуда могу его держать. . . В городе поговаривают также, будто и еще кто-то намечен к высылке и, между прочим, якобы, Кривенко. Вот тогда уж совсем мат будет. Времена наступили злые. Катков делает, что хочет, и пользуется этим, чтобы отомщать; уж не об динамите и цареубийстве идет речь, а о простом «человеческом образе мыслей». . . Тяжесть злых времен углублялась тем, что, взамен кн. П. Вяземского, начальником главного управления по делам печати был назначен отъявленный реакционер Е. М. Феоктистов.

Если первым следствием «злых времен», весьма ощутительно отразившимся на судьбах журнала, была высылка Михайловского, то вторым, не менее тяжким, явилось объявление ему второго предостережения. Предостережение было мотивировано «вредным направлением журнала, осмеянием и старанием выставить в ненавистном свете существующий общественный, государственный и экономический строй», а также «симпатиями его к крайним социалистическим доктринам». Затем в тексте предостережения была названа статья Николадзе, якобы содержащая «восхваление одного из

французских коммунаров». Повелось думать, что предостережение было вызвано именно статьей Николадзе, так как только о ней упоминалось в тексте его. Имеющиеся у меня данные позволяют совершенно неопровержимо установить, что в несравненно большей степени виновником второго предостережения следует считать самого Салтыкова, поместившего в январьском номере продолжение «Совр. Идиллии» — как-раз ту главу ее (XXII), в которой сатирически изображается политический процесс, якобы происходивший в Кашинском суде. В заседании СПБ. цензурного комитета 14 января 1883 г., цензор Лебедев, квалифицируя статью Щедрина, как крайне предосудительную, докладывал о ней следующее:

«Этот очерк, составляющий продолжение очерка под тем же названием, помещенного в декабрьской книжке «Отеч. Зап.», о предосудительном содержании которого цензурный комитет имел честь доносить исправляющему должность начальника главного управления по делам печати, нимало не отличается от предыдущего: в нем проводится идея полного отрицания всего существующего в нашем обществе и народе; высказывается презрение ко всему, что живет и просто существует на родной земле, как-будто бы она представляла глухую степь, на которой разрастается беспрепятственно одно тупоумие. Такое направление составляет впрочем характеристическую черту литературных произведений Щедрина, и так как они по преимуществу принадлежат к сатирической области, то на этом основании и пользовались большею долей свободы и снисходительности со стороны цензуры. Но и для сатиры существуют пределы, которые нельзя переходить безнаказанно. Такая мера терпимости, по мнению цензора, перейдена в настоящем очерке, так как автор предает в нем осмеянию не пороки общества, не злоупотребления отдельных правительственных лиц, а подводит под бич сатиры высшие государственные органы, как политические суды, и действия правительства против политических преступников, стараясь и то и другое представить читателю в смешном и презренном виде и тем самым дискредитировать правительство в глазах общества.

В рассматриваемом очерке Щедрин описывает фантастический политический процесс в Кашинском окружном суде, Тверской губ. Персонал суда представлен им состоящим из настоящих людей, жертвы же преследования правительства, т.-е. политические преступники изображены в аллегорической

форме рыб, и именно, пискарей. Из обвинительного акта, читанного на суде (стр. 273 — 275), оказывается, что вся вина пискарей состояла в том, что они, не желая попасть в уху, которою любят кормиться благонамеренные граждане, эмигрировали, бог весть куда, так что несмотря на все старания властей изловить их, им удалось поймать в речке Кашинке только одного провинившегося пискаря, который и предан суду, но без присяжных заседателей, так как процесс был политический, а у присяжных заседателей политического смысла не полагается (стр. 272). Далее следует карикатурное описание самого хода уголовного суда, в котором, между прочим, вместо больного пискаря дает ответы суду жандарм, стерегущий его и оказывающийся умнее и человечнее и судей и прокурора. Свидетелем и доносчиком на пискарей является лягушка, говорящая словами московских публицистов, будто пискарями основы потрясены, авторитеты подорваны, власти бездействуют, суды содействуют и проч. Но суду не приходится произнести своего окончательного решения над преступником, так как больной пискарь издох в присутствии суда. По поводу этого суда автор саркастически замечает: не заблуждайся этот пискарь, не предавайся утопиям, он и теперь был бы целехонек, и присовокупляет, что во всяком благоустроенном обществе по штатам полагаются: воры, неисправные арендаторы, доносчики, издатели «Помой», прелюбодеи, кровосмесители, лицемеры, клеветники, грабители, все же не принадлежащее к этим категориям, составляет утопию.

Намерение, которым задается сатирик, представить в превратном и неблаговидном свете действия правительства в деле преследования злонамеренных лиц, замешанных в политическом процессе, старание изобразить эти лица жертвами несправедливого преследования, цензор находит крайне оскорбительным для судебного института и колеблющим авторитет правительственной власти в общественном мнении.

Находя такое содержание явно противным требованиям цензурных постановлений, так как политические преступники и преследования их должны быть вне сферы сатиры и карикатуры, а также, что такое содержание способно возбудить в обществе неуважение к власти, при чем, в этом очерке осмеивается правительство и его органы, цензор считает январскую книжку «Отеч. Записок» подлежащею аресту на основании закона 7 июня 1872 г.».

Цензурный комитет согласился с мнением цензора, считая с своей стороны совершенно недопустимым изображение в сатирическом виде мер, предпринимаемых правительством, как административных, так и судебных, по отношению к политическим агитаторам», и постановил представить об аресте книжки в главное управление по делам печати для доклада министру внутренних дел. Однако, дело разрешилось несколько иначе, чем предполагал комитет. На полях его представления мы находим надпись следующего содержания: «по сему представлению номер журнала задержан не был а дано предостережение».

Каким образом и в силу каких соображений результатом представления, сплошь посвященного «Совр. Идиллии» и ни одним словом не упоминавшего о статье Николадзе, явилось предостережение с упоминанием только о статье Николадзе, — для ответа на эти вопросы у меня точных данных нет. Может быть, к моменту получения представления комитета в сферах уже был предрешен вопрос о предостережении, при чем, останавливаясь на статье Николадзе, тем самым хотели подчеркнуть сотрудничество в «Отеч. Зап.» лица, замешанного в революционном движении. Может быть, тут действовали иные какие-либо мотивы, на которые могло бы пролить свет разыскание соответствующих документов... Во всяком случае, объявление второго предостережния, да еще с такою грозной мотивировкой, да еще после высылки одного из редакторов, создавало небывалое тяжелое положение для «Отеч. Зап.», и Салтыков более, чем когда бы то ни было, имел основание тревожиться за судьбу журнала. Его письма, относящиеся к данному моменту в истории «Отеч. Зап.», свидетельствуют о той невыносимой душевной тревоге, которую он испытывал и бороться с которой ему пришлось в период усиления и обострения его и без того тяжких физических недугов. Характерно, что из писем Салтыкова к друзьям явствует, что он сознавал ту роковую роль, которую сыграли в данном случае и играли вообще в цензурных гонениях на «Отеч. Зап.» его писания. На этот раз первым, кому сообщил Салтыков о постигшей журнал невзгоде, был Елисеев. В письме его к последнему от 21 января читаем: «Едва я успел послать вам второе письмо, как пришел N [1]

[1] Вероятно, кто-нибудь из цензурных чиновников, лично знакомых с Салтыковым; может быть, Ратынский.

и объявил, что в совете решено: объявить «Отеч. Зап.» по поводу № 1 второе предостережение. При этом рассуждали, что давно надо было это гнездо разорить». Далее Салтыков выражал уверенность, что за февральскую книжку «Отеч. Зап.» будет объявлено третье предостережение, после которого журнал будт приостановлен и отдан под цензуру. В марте 1883 г. настроение Салтыкова еще более упало, как это видно из нового письма его к Елисееву (от 29 марта): «Уверяю вас, — читаем здесь, — никогда я не испытывал такой тоски, как в настоящее время, что-то тяжелое висит надо мною... Журнал идет кое-как, да признаюсь вам, я и интерес к нему как-будто утратил. Скучно жить под угрозой, и, право, было бы лучше, если бы положение выяснилось окончательно. Только вот что страшно: много народа хлеб насущный потеряют. А дело, повидимому, неизбежно к этому идет. Откуда такое озлобление и в особенности лично против меня, — это даже понять мудрено; но озлобление несомненно существует и надо подчиняться ему. — Вот, почему я и пишу так редко»... Здесь с достаточной ясностью указан целый ряд причин того тяжелого душевного состояния, которое испытывал Салтыков: и сознание неотвратимости репрессий против журнала, и невозможность писать, и страх за участь сотрудников, и опасения за себя, в виду «озлобления», направленного лично против него. Что касается последнего обстоятельства, то нельзя не отметить, что Салтыков едва ли имел достаточно объективные основания удивляться («даже понять мудрено»), чем вызвано это озлобление против него. В рассматриваемый период времени, ни с чьей, разумеется, стороны толстовско-катковская реакция не встречала такого негодующего и так метко бьющего в цель обличения, как со стороны исполненной горечи и злости сатиры Салтыкова. В этом, конечно, великая заслуга Салтыкова, в этом его главное право на общественное внимание, в этом разгадка огромного успеха его произведений и, в значительной степени, популярности руководимого им журнала. Салтыков отнюдь не принадлежал к числу тех художников, которые, подобно Гоголю, не всегда ведают, что творят (Гоголь, напр., форменным образом «подрывал основы», будучи в то время одним из наиболее лояльных подданных Николая I); он придерживался определенного социально-политического credo, и его журнальная и литературная деятельность являлась не более как способом служения этому credo. Оттого-то

в лучших из своих произведений Салтыков, если только была к тому малейшая цензурная возможность, любил ставить точки над *и*, любил от частных примеров и отдельных фактов переходить к широким обобщениям и выводам, не упускал случая притянуть к ответу всю «систему», хорошо понимая, что в ней-то, а не в подвигах тех или иных представителей администрации, — истинный корень зла. Наивно было при таких условиях удивляться тому озлоблению, которое он внушал, и если он все-таки удивлялся этому и тревожился по поводу этого, то, вероятно, в силу полубессознательной, в течение долгих лет бюрократической службы выработавшейся, привычки считаться с мнением начальства о себе... Этим же приходится объяснять, что ему трудно было помириться с тем, что его признали вредным писателем, и в тоне, которым он говорит об этом в своих письмах, явно слышится плохо скрываемое неудовольствие. А между тем разве тот же Салтыков не понимал, что его журнальное и литературное служение не могло не приносить известного вреда тем государственным «системе» и порядку, с которыми он так упорно боролся? Разве он мог хоть на минуту усомниться в том, что не будь его произведения в этом смысле вредными, их значение было бы неизмеримо меньше? Конечно, понимал, конечно, не сомневался, а все-таки мысль о признании его «вредным» занозою сидела в его душе. Тем не менее ни эта мысль, ни обывательские слухи и сплетни о том, что его высылают, не были в состоянии заставить его дрогнуть, изменить себе и своим убеждениям. Салтыков мог временами замолкать, Салтыков мог, под гнетом обстоятельств, о многом не заговаривать вовсе, его речь могла иногда быть малопонятной от обилия разнообразнейших эзопизмов, но сознательно фальшивить Салтыков не мог; в этом он совершенно неповинен. Сколько-нибудь продолжительное молчание также было в такой мере не в его натуре, что он сплошь да рядом прерывал его раньше, чем это, быть может, допускалось требованиями осторожности. Так и в данном случае, Салтыков свой искус молчания ограничил всего тремя месяцами. В уже цитированном письме к Елисееву от 29 апреля он сообщает о своем намерении напечатать в майской книжке «Отеч. Зап.» конец «Современной Идиллии» и приводит ряд соображений в оправдание его, так как не уверен, что напечатание «Совр. Идиллии» не повредит журналу: «Я более литератор, нежели редактор, и не печататься

для меня — большая потеря. Читатель в праве подумать, что я струсил и иссяк». Но покамест писался конец «Совр. Идиллии», за плечами автора неотступно стоял редактор и шептал ему о необходимости быть осторожнее. И в самом деле, заключительная часть «Идиллии» по сравнению с началом, а в особенности с соединенными главами этого произведения, несравненно бледнее... Не мог этого не понимать и сам Салтыков... Мало того, он решился намекнуть на причины этой бледности и читателям. Глава XXVIII (предпоследняя) «Совр. Идиллии» начинается словами: «я обращаюсь к снисходительности читателя. Я должен кончить с этой историей, хоть скомкать ее, но кончить. Я сам не рассчитывал, что слово: «конец» напишется так скоро и предполагал провести моих героев чрез все мытарства, составляющие естественную обстановку карьеры самосохранения. Не знаю, сладил ли бы я с этой сложной задачей, но знаю, что должен отказаться от нее и на скорую руку свести концы с концами. Во все продолжение моей литературной деятельности я представлял собою утопающего, который хватается за соломинку. Покуда соломинки были, я кое-как держался; но как скоро нет и соломинок — ясное дело, что приходится утонуть»... Но и в скомканном виде «Совр. Идиллия», казалось Салтыкову, могла навлечь на журнал цензурные неприятности, а потому он решил обратиться за советом к человеку, редакторской опытности которого не мог не доверять, хотя человек этот никогда не пользовался его симпатией,—к собственнику «Отеч. Зап.» А. А. Краевскому. Из письма его к последнему от 9 апреля («День», 1914 г., № 114) видно, что он не только спрашивал у Краевского совета, но и предоставлял ему окончательное решение вопроса о напечатании или ненапечатании статьи («ежели Вы почему-либо усомнитесь, то можно будет статью отложить и заменить другою»). Так как «Совр. Идиллия» появилась в майском номере «Отеч. Зап.», то отсюда нельзя не заключить, что со стороны Краевского никаких возражений против ее напечатания не последовало. Многолетняя опытность «предусмотрительного» Андрея на этот раз его не обманула, и этот номер журнала никаких тревог в цензурных инстанциях не возбудил. Но положение «Отеч. Зап.» все еще оставалось очень тяжелым, и Салтыков продолжал находиться под особым подозрением. Имея знакомых среди чинов цензурного ведомства, сатирик не мог не знать об этом, а потому тревожное настроение его не прохо-

дило, тем более, что его непрестанно поддерживали не унимавшиеся слухи об его высылке (см. письма Салтыкова к Елисееву от 2 мая и к Белоголовому от 11 мая). Предпринятая в конце лета поездка за границу к семье не принесла успокоения его измученным нервам. Мысль, что его «литературная карьера кончена» (письмо к Белоголовому от 9 августа) не оставляла его, и под влиянием ее он, «чего никогда с ним не случалось, к работе не приступал» (письмо к Елисееву от 2 августа). В десятых числах того же августа в Париже состоялось заранее назначенное свидание Салтыкова с Елисеевым, во время которого последний всячески старался убедить первого в том, чтобы он возобновил контракт с Краевским на издание «Отеч. Зап.», и чтобы он не преувеличивал опасности, угрожающей журналу (см. ст. Елисеева в «Заветах», стр. 41—42). Эти убеждения, повидимому, сыграли некоторую роль в решении Салтыкова продолжить контракт с Краевским еще на два года, но его пессимистического настроения поколебать не могли. Особенно обострилось это последнее после возвращения сатирика в Петербург. Если, с одной стороны, его усугубляло болезненное состояние Михаила Евграфовича («болезнь моя, — писал он Белоголовому, — положительно застилает от меня внешний мир; . . из-за границы я привез новые ужасные болезни, которых прежде не знал, как, напр., боль седалищного нерва, безмерно меня мучающую»»), то, с другой, на него сильно влияла общественная атмосфера, в частности травля против него, поднятая «Моск. Вед.» («вокруг меня, умирающего, но еще живого, образовалась целая свистопляска самых паскудных ругательств» — там же). И тем не менее, Салтыков все же решился «Пошехонские рассказы», печатавшиеся в пяти последних (с августа по декабрь) книжках «Отеч. Зап.», «перевести помаленьку на более серьезную почву». «Посмотрим, — добавлял он, — что из этого выйдет: может быть, третье предостережение». . .

Здесь уместно будет указать, что более или менее безобидным является с цензурной точки зрения только первый из «Пошехонских рассказов», в котором приводятся рассказы «незабвенного» майора Можайского гусарского полка Горбылева о нечистой силе. Однако и этот рассказ при желании мог дать повод упрекнуть Салтыкова в «пессимистическом изображении», употребляя цензурную терминологию, представителей армии, которые выведены у него как круглые

«невежды», лгуны, ухажеры, к тому же постоянно допивающиеся «до чертиков». Во втором рассказе, написанном якобы для того, чтобы «исправить репутацию», Салтыков усиливается быть сугубо благонамеренным и рисует целую галлерею «городничих бессеребренников», «бескорыстных предводителей дворянства», «благонамеренных исправников» и т. д. Правда, при ближайшем рассмотрении оказывается, что их бессеребренничество, бескорыстие, благородство не более, как химера, но сатирик мог оправдаться тем, что и в этом рассказе так же, как и в первом, он изображает давно прошедшие времена. Но уже в третьем рассказе Салтыков возвращается к современности, и из-под пера его выходят привычные образы «наглых ядрил, оскверняющих мозги посторонних лиц своим бешеным бормотанием», и «жестоковыйных кляузников, которые с беззаветным нахальством проникают и в публичные места, и в частные квартиры». В заключительной части рассказа в уста Крамольникова, «публициста и либрпансёра», автор вкладывает речи, сильно напоминающие прежние писания Щедрина. Весьма недвусмысленно звучит, хотя бы, следующее обращение Крамольникова к «мудрецам»: «Растолкуйте вы мне, почему то, чему присваивается название «правды» по ту сторону Вержболова, называется неправдой и превратным толкованием по сю сторону? Почему то, что признается не только безопасным, но даже благотворным по ту сторону, становится опасным и вредным по сю сторону? Почему люди, считающиеся надежнейшею поддержкою порядка т а м, являются з д е с ь подрывателями, чуть не разбойниками, почему, наконец, один и тот же человек какою-то пустой речонкой, составляющей границу, рассекается на-двое? Почему?». В данном случае Крамольников, без сомнения, намекает на различие между к о н с т и т у ц и о н н о й Германией и с а м о д е р ж а в н о й Россией. Двумя страницами ниже он казнит самого себя, а вместе с тем и все русское общество за готовность итти на компромиссы и довольствоваться малым. «Я каюсь, — говорит он, — я был малодушен! . . Я изменил большим убеждениям и примирился с малым. . . — Это нечестно! Вместо того, чтоб итти широким вольным путем, я предпочел окольные тропинки; вместо того, чтобы вступить на торжище воротами, я удовольствовался заглядыванием в щелку. . . как раб. Я думал, что это знаменует мудрость, а на поверку вышло, что это была громадная, непоправимая глупость.

В одно прекрасное утро щелка исчезла, и я остался безо всего... Многие из вас думают, что можно до такой степени умалиться, стушеваться, исчезнуть, что самая суровая действительность не выдержит и поступится хоть забвением... Тщетная надежда, государи мои!.. Все ваши подходы припомнятся вам, все недомолвки будут сочтены... Стыдитесь, господа! — Вспомните, что вы люди и что не напрасно предание отличает человеческий образ от звериного! Вспомните, что в известных случаях, отсутствие мужества равняется предательству!»...

В этих словах Крамольникова, персонажа, за которым скрывается сам автор, нельзя не увидеть своего рода обращение к обществу, к широким читательским кругам — в надежде пробудить в них более активное отношение к современности, в частности обратить их внимание на невыносимо тяжелое положение передовой литературы. Не забудем, что тирада Крамольникова, из которой только-что были сделаны извлечения, явилась непосредственным ответом на предъявленное к нему обвинение в том, что он «делается невозможным». Не это ли на разные лады твердили относительно Салтыкова всевозможные охранители, начиная от цензора Лебедева и кончая самим Катковым?

Не менее резкая нота взята в четвертом «пошехонском» рассказе — «Пошехонские реформаторы». Вся соль его в сравнении судьбы «реформатора» Андрея Курзанова, который твердил, что «жить надо по-божески», т.-е. «тебе кусок, и ему кусок, и всем прочим по куску», «чтобы ни рабов, ни данников, ни кабальных людей — ничего такого, чтобы не было»; «душу свою за други свои полагать надо»,—с судьбою «реформатора» Беркутова, цель которого — «всех привести к одному знаменателю», а средство — ябеда и доносы. Во времена стародавние к Курзанову существовало отношение, как к «справедливому» человеку, которого послушать полезно для души; но из слов его никто никогда практических выводов не делал; к Беркутову же относились как к злобному, всем одинаково противному, ябеднику; нередко за бездоказательные доносы ему и в тюрьме приходилось сидеть. Но чем ближе к современности, тем более меняется картина: Курзанов в глазах властей становится «потрясателем» основ, а Беркутов излюбленным человеком, что не мешало ему, время-от-времени, предавать своих покровителей. В истории двух «реформаторов» Салтыков, без сомне-

ния, подводил итог своим наблюдениям над эволюцией русской государственности в течение трех царствований, свидетелем которых он был: Николая I и обоих Александров. Нужно ли говорить, насколько безотрадным был этот итог!!.

Неудивительно, что при таком направлении «Пошехонских рассказов» они должны были привлечь к себе недоброжелательное внимание цензуры. Произошло это в декабре месяце, когда на страницах «Отеч. Зап.» появился пятый рассказ «Пошехонское дело». Цензор Лебедев так аттестовал его в своем донесении в цензурный комитет (от 14 декабря):

«Рассказ этот, как и предыдущие рассказы Щедрина, отличается пессимистическим характером. Из этого рассказа прямо явствует, что под именем Пошехонии автор разумеет Россию, современный общественный быт, который он и старается представить в самом безотрадном виде. Переживаемое время называет он временем суровых, но бесплодных поучений, в которое проповедуется необходимость перехода от мечтаний и фразы к «делу», при чем, однако, никто не берет на себя труд пояснить, в чем заключается это «дело» и в чем проявлялись эти мечтания и фразы. Все требуют «дела», говорят о «деле», поучают, убеждают и негодуют на тему о «деле». Публицисты едва успевают формулировать народившиеся требования «дела». В разные исторические эпохи существования Пошехонии «дело», — говорит автор, — понималось у пошехонцев различно: было время, когда «делом» называлась бессовестная эксплуатация крепостных; затем наступило время, когда после освобождения крестьян «дело» осуществлялось в лице Колупаевых и Разуваевых. Затем, переходя к настоящему времени, Щедрин рисует портрет одного такого дельца по имени Клубкова, который предпочитает дело мечтаниям. Между тем, дело Клубкова состоит в том, что он, поселившись в усадьбе, сделался бичом окрестных крестьян, так как высасывает у них, пользуясь их тяжелым положением, последние гроши. Такого ли «дела» желают те, которые отвергают всякие мечтания и идеалы, спрашивает Щедрин.

Без сомнения, очерк этот нельзя назвать благонамеренным, так как в нем наше общественное положение представляется в печальном виде; но, принимая в соображение, что в таком положении он обвиняет не правительство, а само общество и известную часть литературы и что в таком духе

и направлении пишутся Щедриным все статьи, цензор не считает эту настолько вредною, чтобы она потребовала ареста декабрьской книжки, о чем и имеет честь донести комитету».

Цензурный комитет ограничился «принятием доклада к сведению». Об отзыве Лебедева, надо думать, стало известно и Салтыкову: по крайней мере, в следующих двух журналах «Пошехонские рассказы» не появлялись. Едва ли этот перерыв в их печатании можно объяснить случайностью.

X.

К концу 1883 г. физическое состояние Салтыкова настолько ухудшилось, что в его письмах слышится непрерывный стон изнемогающего под бременем нескольких мучительных болезней старика, к которому нередко примешиваются горькие жалобы на литературно-общественное безвременье. Салтыков чувствует, что едва ли будет в состоянии «дотянуть» журнал в течение тех двух лет, на которые он возобновил контракт с Краевским (письмо к Белоголовому от 15 декабря), его угнетает сознание, что в «общественном мире просветов не предвидится», и «в самом обществе замечается наклонность уничтожить всякие порывы». Он раздражен тем, что подписка идет слабее прошлогодней, а уже в прошлом году «Отеч. Зап.» потеряли 1 500 подписчиков, и вполне справедливо ставит это явление в связь с общественной деморализацией: «никто ничем не интересуется, никто ничего не читает» (письмо к Белоголовому от 18 декабря). Убийство Дегаевым Судейкина настраивает его еще мрачнее. «После убийства Судейкина, — пишет он Елисееву от 29 декабря, — вероятно, дела пойдут еще хуже. У нас всегда так: первым делом все на литературу валят. И в особенности на «Отеч. Зап.». Никакая осторожность тут ничего не поможет». «После завтра начинается новый год, что-то он нам принесет, каких новых скорпионов!» — восклицает Салтыков в последнем декабрьском (от 30 декабря) письме к Елисееву. Предчувствие «скорпионов» не обмануло его. Они начались с первых дней нового года и сразу же приняли чрезвычайно неприятные для журнала формы. 3 января был арестован С. Н. Кривенко, который в то время нес вместе с Салтыковым бремя редакционных забот по журналу. Этот арест прямотаки сразил Салтыкова, во-первых потому, что лишил его

незаменимого помощника, во-вторых потому, что лишний раз подчеркнул, в каком опасном положении находится журнал, сотрудники которого то и дело подвергаются административным карам. «Представьте, — писал он Белоголовому от 13 февраля, — мое положение: я теперь в журнале остался совсем один со Скабичевским. И это при неизлечимом моем недуге. Давеча меня потребовали в цензурный комитет для вырезок, так я насилу доехал. Верите ли, совершенно искренне говорю, что самое лучшее теперь было бы умереть». . . А тут еще журнал подвергся новому очень серьезному цензурному натиску. Вырезки, о которых упоминает Салтыков, коснулись его собственного произведения. Из «весьма нужного» отношения председателя цензурного комитета А. Г. Петрова на имя старшего инспектора петербургских типографий (от 13 декабря за № 190) явствует, что «в февральской книжке журнала «Отеч. Зап.» редакция должна была сделать исправления — а именно: исключить статью Щедрина «Сказки», — «Добродетели и пороки», «Медведь на воеводстве», «Обманщик газетчик и легковерный читатель», «Вяленая вобла», — помещенную на стр. 535 — 538». О мотивах, вызвавших вырезку «Сказок», догадаться нетрудно. Темы «сказок — крайнее нравственное падение общества, благодаря которому грань между «пороками и добродетелями», распространенными в его среде, окончательно стерта («Добродетели и пороки»), благодаря которому оно с такою же легкостью воспринимает «истину», т.-е. дифирамбы современности, с какою прежде воспринимало «обман», т.-е. ее обличения, преподносимые ему ловкими и своекорыстными газетчиками («Обманщик газетчик и легковерный читатель»); иногда до-нельзя глупые, иногда до-нельзя зверские методы управления провинциальных администраторов — Топтыгиных («Медведь на воеводстве»); наконец, крушение правительственной системы «вяленой воблы», ограничивавшейся проповедью истины: «не растут уши выше лба! не растут», и неспособной в достаточно широких размерах прибегать к «ежовым рукавицам», а потому и обвиненной в «паскудном либеральничаньи» («Вяленая вобла»), — все эти темы по самому существу своему были таковы, что принадлежали к числу наиболее неприятных, с точки зрения министерства внутренних дел и его органов. Мотивируя требование об исключении «Сказок», председатель цензурного комитета, по свидетельству самого Салтыкова (в письме к Н. К. Михайлов-

скому от 14 февраля), сообщил ему, «что в февральских сказках, главным образом, обращено было внимание на Льва». Вот и сочли за аллегорию,—дополняет Салтыков в письме к Белоголовому от 13 февраля, — да за одно-ж и прочие три похерили. Выходит, что, если бы Крылов теперь писал свои басни, то редкую из них не заподозрили бы»... Естественным следствием происшедшего было то, что Салтыков должен был предназначенные на март, и уже переданные в типографию другие четыре сказки взять обратно, «ибо там действующим лицом является Орел». «Я думаю, — меланхолически замечает сатирик, — что отработался, а выходит, что только всуе труждался зиждущий» (письмо к Михайловскому). Вся эта история повлияла на Михаила Евграфовича угнетающим образом. Ведь А. Г. Петров прямо заявил ему, что вырезка статьи «делается по особому вниманию Феоктистова, который не хочет покуда дать третье предостережение и, приостановив журнал, о т д а т ь е г о п о д ц е н з у р у». Салтыков был прав, поняв эти слова в том смысле, «что у них уже все подстроено и готово» (письмо к Михайловскому). И никакого преувеличения нет в его горьких признаниях: «плохо мне. Совсем из литературы вытесняют. Силы уже не прежние, производительность убавляется, а тут уничтожают то, что могу писать» (из письма к Елисееву от 12 марта); «вероятно минуты «Отеч. Зап.» — сочтены» (письмо к Белоголовому от 13 февраля). Чтобы прояснить положение, Михаил Евграфович решается на средство, конечно, очень для него неприятное, но без которого обойтись было трудно—личное объяснение с начальником главного управления по делам печати Феоктистовым. Принял его Феоктистов 8 марта, и, к удивлению, результаты этого свидания были, при данных условиях, более или менее удовлетворительными. «Я вчера был, — писал Салтыков 9 марта Краевскому, — у Феоктистова (в первый раз, хоть физиономия показалась мне несколько знакомой); он мне обещал, что не будет принято против нас мер без предварительного соглашения со мной. Это очень мало, но все-таки что-нибудь. Он же мне сказал, что и гр. Толстой не желает предпринимать что-либо лично против меня по старому товариществу [1] Неприятно одно, теперь будут надоедать с выре-

[1] Гр. Д. А. Толстой был товарищем Салтыкова по Лицею: Толстой кончил курс в 1842 г., а Салтыков — в 1844 г.

ками»... Приблизительно то же сообщал Салтыков в мартовском письме к Михайловскому... Все эти, как-будто бы не лишенные известного благожелательства разговоры не помешали, однако, цензору Лебедеву через несколько дней после свидания Салтыкова с Феоктистовым произвести очередную атаку против «Отеч. Зап.». И на этот раз дело шло о произведении Салтыкова, шестом и последнем из «Пошехонских рассказов» — «Фантастическое отрезвление». Вот что писал Лебедев в своем докладе в комитет:

«В этом сатирическом очерке автор имеет целью осмеять ту консервативную часть публицистики, которая хлопочет об отрезвлении русского общества, при чем старается представить наше современное общественное положение в самом мрачном и безотрадном виде. Со свойственным автору преувеличением и бесшабашностью он рисует пред читателем самые невероятные картины, дабы произвесть на него более сильное впечатление. Так он начинает свой очерк с того, будто в Пошехонии (т. е. в России) на том месте, где когда-то происходили северные народоправства (попросту веча), впоследствии был построен съезжий дом с каланчой, на которой ходит сторож, наблюдающий за народным отрезвлением и готовый во всякое время с своей вышки дать сигнал к окачиванию водой собравшейся около нее для народоправства толпы (стр. 251, 252, 253, 254). Такой способ отрезвления пошехонцев введен, по словам автора, у нас ныне. Без сомнения автор намекает этим на известные газеты и преимущественно на «Московские Ведомости», а не на правительство, но нельзя не заметить из слов его, что газеты такого направления пользуются особым авторитетом (стр. 261, 262, 263).

Для более наглядного понимания пользы такого рода управления, он выводит на сцену среди толпы, собравшейся на вече пред каланчою съезжего дома, скромного обывателя Пошехонья (по имени Рыжего), который не стесняется вслух выражать свои мысли, заключающиеся между прочим в том, что он не может согласиться с тою истиною, будто всякое начальственное требование от природы правильно, а потому и следует его выполнять. Не соглашаясь с такою новою мыслью, толпа переходит от споров к рукопашной схватке и убивает Рыжего (стр. 263, 264, 266). Таким образом результатом той системы отрезвления, которую хотят ввести известного сорта публицисты, по словам автора, оказывается труп (стр. 267, 268).

Нельзя не заметить, что Щедрин, считая публицистов, проводящих идеи об отрезвлении, ныне в силе и как бы находящимися под покровительством правительства, бросает этим тень осуждения на самое правительство за то, будто бы, безотрадное положение, в котором находится современное русское общество, чем и возбуждает читающую публику против правительства. Принимая во внимание, что настоящий очерк написан в том же пессимистическом духе, как и большинство прежних его статей, цензор не считает и этот очерк настолько вредным, чтобы требовать ареста мартовской книжки журнала «Отечественные Записки», но о предосудительном содержании статьи считает необходимым донести главному управлению по делам печати».

Комитет, конечно, не преминул согласиться с мнением цензора и, усмотрев в рассказе Щедрина «стремление бросить тень на разумность и целесообразность принимаемых мер», постановил донести о «Фантастическом отрезвлении» главному управлению по делам печати.

Это был последний цензурный инцидент в истории «Отеч. Зап.», ибо дни журнала были уже сочтены. . .

Гром грянул 20 апреля, когда было напечатано в «Правительственном Вестнике» обширное сообщение о запрещении «Отеч. Зап.». Суть его сводилась к следующему:

«Некоторые органы нашей печати несут на себе тяжкую ответственность за удручающие общество события последних лет... Страницы журналов и газет известного оттенка отмечены направлением, которое породило неисчислимый вред и связь коего с преступными учениями не подлежит сомнению... В редакции «Отеч. Зап.» группировались лица, состоявшие в близкой связи с революционной организацией; еще в прошлом (1883) году один из руководящих членов редакции означенного журнала подвергся высылке из столицы за крайне возмутительную речь, с которой он обратился к воспитанникам высших учебных заведений, приглашая их противодействовать законной власти. Следствием, кроме того, установлено, что заведывавший одним из отделов того же журнала до времени его ареста был участником преступной организации. Еще на сих днях полиция поставлена была в необходимость арестовать двух сотрудников этого журнала за доказанное пособничество с их стороны деятельности злоумышленников. Нет ничего странного, что статьи самого ответственного редактора, которые по цензурным условиям не могли быть напечатаны в журнале, появлялись в подпольных изданиях у нас и за границей. Присутствие значительного числа лиц с преступными намерениями и в редакции «Отеч. Зап.» не покажется случайным ни для кого, кто следил за направлением этого журнала, внесшего немало смуты в сознание известной части общества. Независимо от привлечения виновных к законной ответственности, правительство не может допустить дальнейшее суще-

ствование органа печати, который не только открывает свои страницы распространению вредных идей, но и имеет ближайшими своими сотрудниками людей, принадлежащих к составу тайных обществ».

Таким образом, в качестве главного мотива запрещения, наравне с вредным направлением, правительственная власть указывала на нахождение в составе ближайших сотрудников участников революционных организаций. Повидимому, расправа с «Отеч. Зап.», декретированная совещанием четырех министров на основании временных правил о печати 1882 г., была неожиданной не только для Салтыкова, но и для самого цензурного ведомства. Характер обвинений, предъявленных журналу, по самому существу своему был таков, что в основание его должны были лечь не столько те данные, какие могли быть представлены цензурным ведомством («предосудительность» тех или иных статей), сколько те, специальной лабораторией по изготовлению которых являлся департамент полиции. Если бы мысль о совершенном запрещении «Отеч. Зап.» выдвигалась и проводилась цензурными инстанциями, то, без сомнения, в архивных делах главного управления по делам печати и цензурного комитета сохранились бы какие-либо относящиеся сюда материалы, в виде докладных записок о направлении журнала за известный промежуток времени, перечня цензурных репрессий, которым он подвергся, и т. д. Полное отсутствие подобных материалов в использованных мною архивных делах служит, хотя и не абсолютным, но все же довольно веским подтверждением того, что цензурное ведомство, виновное в исключительной по своей интенсивности и постоянству травле против «Отеч. Зап.», в частности, против Салтыкова, не было, однако, непосредственным виновником запрещения журнала. Я подчеркиваю слова «непосредственным виновником», ибо репутация журнала как «крайне неблагонамеренного», «крайне предосудительного», которая, без сомнения, весьма учитывалась на совещании четырех министров, была создана не кем иным, как именно цензурным ведомством. Это последнее сделало все от него зависящее, чтобы установить в «сферах» взгляд на «Отеч. Зап.» как на оплот «крамольных» идей, и только стечением известных обстоятельств, в данном случае нахождением в составе сотрудников журнала таких очень скомпрометированных, с точки зрения департамента полиции, лиц, как Кривенко, Николадзе, отчасти Михайловский, прихо-

дится объяснять, что окончательный удар, пресекший существование журнала, нанес департамент, а не главное управление. Если бы не вмешательство департамента, гибель «Отеч. Зап.» была бы несколько отсрочена. Быть может, дело обошлось бы без запрещения журнала, а ограничилось бы вытеснением из него прежних сотрудников с Салтыковым во главе и передача его в другие, более благонамеренные, руки. Такой исход, повидимому, считал более вероятным и сам Салтыков. Хотя, таким образом, гибель «Отеч. Зап.» и была им, в значительной степени, предвидена, но, тем не менее, столь быстрой развязки он никак не ожидал, и она, без преувеличения говоря, поразила его как громом. И если его первый отклик на запрещение журнала (письмо к Елисееву от 20 апреля) был страшен своим лаконизмом, то впоследствии, по мере того, как мысль о том, что с привычным и любимым делом придется навсегда распрощаться, все глубже проникала в его сознание, из уст его исторгались настоящие вопли. Разве не вопль, хотя бы это письмо к Белоголовому, написанное через четыре дня после катастрофы:

«Многоуважаемый Николай Андреевич!

Извещаю вас кратко: «Отечественные Записки» приказали долго жить. Пространно же вы, я полагаю, уже прочтете во всех газетах об этом. Очень-очень серьезное время мы переживаем. Выходит, что журнал прекращен не за содержание, а за то, что некоторые из его сотрудников арестованы. Но и в департаментах арестуют чиновников, а департаменты не закрывают. Вообще я как-то спутался и испытываю ощущение громаднейшей скуки. Я нимало не сомневаюсь, что в настоящее время всего нужнее уморить меня, и что тут главным подстрекателем Катков. Может быть, я и помру, потому что тут никакое здоровье не выдержит. А публика у нас презренная. Уже со второго дня начали ходить и спрашивать, скоро ли расчет. . .».

Уже в этом письме намечаются, а в других письмах, трактующих о запрещении «Отеч. Зап.», с полною отчетливостью вырисовываются те довольно-таки разнообразные мотивы, благодаря которым Салтыков так остро воспринял и болезненно переживал это событие. Мотивы эти могут быть сведены к двум основным категориям: мотивы личные и мотивы общественные. Начну с первых. К ним, прежде всего, относятся материальные протори и убытки, явившиеся есте-

ственным следствием запрещения журнала. Свой доход от «Отеч. Зап.» Салтыков (в письме к Белоголовому от 23 июня 1884 г.) определяет в солидную сумму — 12 — 13 тыс. руб. в год. Мы живем в такое время, когда заработки пишущей братии настолько невелики, что нам несколько трудно встать на точку зрения Салтыкова. Пусть доходы его сократились, но все же перспектива голодной смерти отнюдь не угрожала ему, чего он, конечно, не мог не сознавать. Все это так, но единственно правильный подход к данному явлению будет исторический, с одной стороны, и субъективно-психологический, с другой. Для того времени действительному статскому советнику Салтыкову, жена которого поддерживала светские знакомства и разыгрывала из себя светскую даму, трудно было тратить меньше. Если он платил по 1 000 р. за дачу в лето, то люди его круга платили еще дороже. Ко времени закрытия «Отеч. Зап.» Салтыкову уже было около 60 лет, а в этом возрасте человеку, да еще человеку той эпохи, очень трудно менять свои десятилетиями установившиеся привычки и весь жизненный обиход. А Салтыкову, вследствие уничтожения основной статьи дохода, угрожала такая именно ломка. Вот почему для него простительно было волноваться и нервничать по этому поводу.

Другой, тоже личный мотив, это — предстоящая коренная перемена в характере деятельности. 20 апреля 1884 г. Салтыков навсегда лишился журнала, в котором он, в значительной степени, был хозяином, а вместе с тем и утерял привычное социальное положение. Со свойственной ему привычкой иронизировать он определяет это последнее, как положение «генерала без звезды» (в письме к Белоголовому от 23 июня). «Никак не могу выяснить, продолжает он (там же), какого я пола. Заниматься ничем не могу, ибо, направивши свою деятельность известным образом, очень трудно ломать ее». Здесь опять-таки не лишнее вспомнить возраст Салтыкова, исключавший, собственно говоря, возможность нахождения другого рода деятельности, которая заменила бы привычное редакторство. В лучшем случае Салтыков мог надеяться (но в первое время после запрещения «Отеч. Зап.» он почти не надеялся и на это) на сотрудничество в других журналах. Однако, как говорит народная поговорка, переход из «попов да в дьяконы» всегда труден, особенно труден для человека, привыкшего играть командующие роли. Не забудем, что в последние годы своей чиновничьей службы

Салтыков занимал более или менее ответственные посты вице-губернатора, которому иногда приходилось замещать губернатора, и председателя казенной палаты. О том, в какой мере руководящей была его роль в «Отеч. Зап.», особенно после смерти Некрасова, полагаю, распространяться нечего. И возраст, и огромная журнальная опытность, и связи в «сферах», и, наконец, громкое литературное имя выдвигали его вперед, даже по сравнению с его соредакторами. И вот такому-то редактору, королю, если так можно выразиться, русских редакторов его времени, судьба и департамент полиции уготовали остаться без своего журнала. Конечно, это было для него крайне тяжелым ударом.

Наконец, третьим мотивом личного характера было опасение полицейских репрессий в отношении себя лично. Салтыков чувствовал, что на него установился взгляд, как на «начальника банды», который только благодаря протекции «не заслан матери в дыру» (письмо к Белоголовому от 11 мая), но может быть заслан, «яко возмутитель», в том случае, если не сумеет избежать проявлений общественных симпатий к себе (письмо к Белоголовому от 3 июля). В этих опасениях, быть может, есть некоторая доза преувеличения, хотя в самом факте высылки даже такого видного деятеля литературы, как Салтыков, не было бы ничего невероятного, тем более, что подобные прецеденты бывали неоднократно. Но если Салтыков и не сделался на этот раз жертвою высылки, как 37 лет тому назад, то нет никакого сомнения, что ему самым непосредственным образом угрожала репрессия иного рода. Основываясь на сведениях, полученных из достоверного источника о том, что московский генерал-губернатор кн. Долгоруков призывал редактора «Русской Мысли» Юрьева и угрожал ему запрещением журнала, если в него перейдут сотрудники «Отеч. Зап.», Салтыков утверждал, что «он имеет полное основание думать, что все эти подходы имеют в виду преимущественно его», так как в сферах «желают, чтобы он не был в литературе и под рукой устраивают, чтобы его нигде не принимали» (в письме к Михайловскому конца июня). При таких условиях Салтыков склонялся к мысли, что его не только «лишили ежемесячной беседы с читателем», «единственным существом, которое он любил», но что у него «на склоне дней это существо отняли» вовсе (письмо к Анненкову от 26 мая). Конечно, и в этом случае Салтыков несколько преувеличивал, но повторяю несколько, а не вполне, ибо

отношение цензуры к его писаниям было не просто, а исключительно недоброжелательным (эта недоброжелательность не замедлила в очень яркой форме проявиться, как только Салтыков начал сотрудничать в «Вестнике Европы» и «Русских Ведомостях»), и если бы у нее была хоть некоторая юридическая возможность наложить veto на все, что печаталось под его именем, то, конечно, она этой возможности отнюдь не упустила бы. Сознавать себя чуть ли не совсем отлученным от общения с читателем, для писателя, так страстно и беззаветно преданного интересам литературы, как был им предан Салтыков, конечно, было невыносимо тяжело.

Говоря об этой причине того подавленного состояния духа, в котором находился Салтыков после запрещения «Отеч. Зап.», нельзя упускать из виду, что она не может быть рассматриваема, как причина личного только характера. Для писателя невозможность печататься равносильна прекращению общественного служения. Салтыков так и воспринял постигшую его невзгоду. Особенно ясно этот мотив выражен в несравненной «сказке-элегии» — «Приключение с Крамольниковым», автобиографичность которой — вне всяких сомнений. «Душа у него запечатана, — так определяет здесь Салтыков свое положение после закрытия журнала, — у него отнято главное, что составляло основу и сущность его жизни: отнята та лучистая сила, которая давала ему возможность огнем своего сердца зажигать сердца других... Обмену добра и света пришел конец. И сам он, Крамольников, — труп, и те, к которым он так недавно обращался, как к источнику живой воды для своей деятельности,—тоже трупы... Никогда, даже в воображении, не представлял он себе несчастия столь глубокого... Разверзлась темная пропасть и поглотила то «единственное», которое давало жизни смысл»... Отсюда с полною ясностью вытекает, что для Салтыкова «смысл жизни» определялся не только возможностью субъективного общения с читателем, но и служением общественной идее, определяемым словами: «огнем своего сердца зажигать сердца других».

В связи с лишением возможности продолжать литературную деятельность пред Салтыковым в острой форме встал вопрос, который предстоял многим его современникам, имел ли он нравственное право посвятить себя литературе, отказавшись от непосредственного участия в жизненной борьбе, необходимым условием которого в его эпоху являлось полное

самоотречение. «Отчего ты не шел прямо и не самоотвергался? Отчего ты подчинял себя какой-то профессии, которая давала тебе положение, связи, друзей, а не спешил туда, откуда раздавались стоны? Отчего ты не становился лицом к лицу с этими стонами, а волновался ими только отвлеченно? Из-под пера твоего лился протест, но ты облекал его в такую форму, которая делала его мертворожденным. Все, против чего ты протестовал, — все это и ныне стоит в том же виде, как и до твоего протеста. Твой труд был бесплоден... Ты протестовал, но не указал ни того, что нужно делать, ни того, как люди шли вглубь и погибали, а ты слал им вслед свое сочувствие»... Подобные размышления всегда очень мучительны, а особенно мучительны для старика, которому уже не под силу повернуть свою жизнь на новую колею.. Нет надобности распространяться, что и в этом случае Салтыков стоит не столько на личной, сколько на общественной точке зрения.

Переходя к тем, преимущественно, общественным мотивам, которые делали для Салтыкова особенно непереносимым запрещение «Отеч. Зап.», прежде всего, надо отметить, что гибель журнала вела к упразднению центра, объединявшего довольно-таки многочисленный литературный кружок, связанный общностью убеждений и участием в одном и том же деле, а затем знаменовала уничтожение фактора, определенным образом влиявшего на общество и занимавшего видное место в литературно-общественных течениях и группировках данного момента. Особенно Салтыкова мучила мысль, что дело не ограничится распадением кружка сотрудников «Отеч. Зап.», но его участникам придется остаться буквально без куска хлеба, тем более, что устроиться в других журналах для них, как одно время казалось ему, было вещью почти-что невозможной. И вот он, этот ворчливый старик, общение с которым, благодаря его резкости и вспыльчивости, иногда бывало не слишком приятным, берет на себя трудную и неприятную миссию добиться у собственника журнала А. А. Краевского, известного своею расчетливостью, правильнее сказать, прижимистостью, согласия на выдачу известной суммы, «которая дала бы возможность осмотреться» оставшимся без работы сотрудникам. Усилия Салтыкова увенчались успехом: ему удалось уломать Краевского ассигновать на эту надобность целых 2 500 р., при чем деньги эти предполагалось распределить следующим

образом: Скабичевскому — 600 р., Южакову, Абрамову, Плещееву и Кривенко по 400 р. и Курочкину — 300 р. (письмо к Михайловскому от 25 апреля). Но успех этот дался ему нелегко — ценою неприятнейшего объяснения с Краевским. «Подлее и противнее этого старика, — пишет Салтыков Михайловскому на другой день после стычки с Краевским, — ничего представить себе нельзя... Вообще он очумел от жадности, и даже не постыдился намекнуть мне, что он мог бы «попользоваться» от «Отеч. Зап.», если бы не запретили их — т.-е. явно валит беду на меня». В следующем письме к Михайловскому (от 11 мая) отзыв о Краевском еще резче: «После объяснений моих с этим старым кобелем по случаю закрытия журнала и необходимости выдать какое-нибудь пособие сотрудникам, он мне до того омерзел, что я не желаю его видеть»... Нужно было иметь много искреннего расположения, если не сказать любви к своим собратьям по работе в журнале, чтобы, несмотря на тяжелую болезнь, ни на минуту не оставлявшую Салтыкова, решиться на торг с Краевским о выдаче им безвозвратных авансов. Я особенно прошу при оценке того, как реагировал Салтыков на запрещение «Отеч. Зап.» и последующие события, обратить внимание на то, что состояние здоровья его в эту пору было крайне неудовлетворительно, о чем он не уставал повторять чуть ли не в каждом своем письме. Для больного же человека пережить и перечувствовать то, что пережил и перечувствовал он, было не то, что вдвое, а в несколько раз тяжелее. А потому горькою правдою веет хотя бы от этого признания: «столько я в две недели пережил, сколько в целые годы не переживал!» (письмо к Анненкову от 3 мая). Если переделка, в которую попал Салтыков в своем стремлении облегчить положение оставшихся без работы сотрудников, была вызвана мотивами общественными, в том числе и чувством товарищеской солидарности, то еще в большей мере он стоял на чисто общественной точке зрения, когда подводил итог тому, что представлял собою запрещенный журнал в общественном смысле, и какова была его роль в современной литературе. Об этом особенно подробно говорит Салтыков в письме к Анненкову от 26 мая, при чем, несмотря на то, что вопрос этот ближайшим образом его затрагивал, выдерживает вполне объективный тон. «Это был единственный журнал, читаем мы здесь, имевший физиономию журнала, насколько это

в Пошехонье возможно. Стасюлевич издает ежемесячный альманах, Юрьев — что-то колеблющееся, неопределенное... Во всяком случае, беллетристика, со смертью «Отеч. Зап.», окончательно замерла. Не только мне, но никому из молодых нет охоты писать. Наиболее талантливые люди шли в «Отеч. Записки», как в свой дом, несмотря на мою нелюдимость и отсутствие обворожительных манер. Мне — доверяли, моему такту и смыслу, и никто не роптал, ежели я изменял и исправлял. В «Отеч. Зап.» бывали слабые вещи, но глупых — не бывало... Я вам скажу прямо: большинство новых литературных деятелей, участвовавших в других журналах, только о том и думало, чтобы в «Отеч. Зап.» попасть. Вот вам характеристика журнала и, позволю себе думать, что в этой характеристике я занимал свое место»... Двумя месяцами позже, в письме к Белоголовому от 27 июля, Салтыков несколько изменил эту характеристику. «Вы пишете, — читаем мы здесь,—что прекращение «Отеч. Зап.» оказывается для вас ощутительным—я этому верю. Не потому, чтоб я превозносил этот журнал выше небес, но потому, что если у него не было положительных качеств, то было отличнейшее качество отрицательное. Он представлял собою дезинфицирующее начало в литературе и очищал ее от микробов и бацилл». Согласиться с тем, что у «Отеч. Зап.» не было положительных качеств, конечно, невозможно. Кроме тех, на которые указал Салтыков в письме к Анненкову: «определенной физиономии», хорошо поставленного беллетристического отдела, можно было бы указать на ряд других. Но и только-что отмеченное Салтыковым «отрицательное» качество нельзя не признать немаловажным: в реакционные эпохи задача дезинфицировать литературу, очищать ее от микробов и бацилл — является одной из наиболее почетных. И надо отдать справедливость «Отеч. Зап.» они выполняли ее, — благодаря участию в них таких критиков и социологов как Н. К. Михайловский, П. Л. Лавров, таких публицистов как Г. Е. Елисеев, а затем сменивший его на посту «внутреннего обозревателя» С. Н. Кривенко, а главным образом благодаря участию самого Салтыкова, — вполне успешно. Не безынтересно здесь привести тот отзыв о закрытом журнале, который появился на страницах органа, не скованного цензурными цепями, — «Вестника Народной Воли»: «Это был единственный орган русской печати, в котором сквозь дым и копоть цензуры светилась искра понимания задач русской жизни

во всем их объеме. За это он должен был погибнуть — и погиб».

Наконец, к числу чисто общественных мотивов, усугублявших огорчение Салтыкова после запрещения «Отеч. Зап.», необходимо отнести обиду, нанесенную ему в эти дни отношением к постигшему его несчастью той общественной среды, костью от костей, плотью от плоти которой он был. Ярче всего эта обида сказалась в письмах к Белоголовому, а особенно к П. В. Анненкову. Уже в первом своем письме к этому последнему «после катастрофы» (от 3 мая) Салтыков с нескрываемым раздражением говорит о том, как реагировало на нее «Пошехонье»: «И Пошехонье теперь думу думает: так вот он каков! Прежде, бывало, живот у меня заболит — с разных сторон телеграммы шлют: живите на радость нам! А нынче вон, с божьей помощью, какой переворот! — и хоть бы одна либеральная свинья выразила сочувствие! Даже из литераторов — ни о д и н не отозвался. Стасюлевич выразил кондолеанс, но относительно сотрудничества в «Вестнике Европы» — ни гу-гу. . . Обидно следующее: человека со связанными руками бьют, а пошехонцы, разиня рот, смотрят и думают: однако, как же его и не бить! ведь он — вон какой!». А в письме к Анненкову от 26 мая та же нота звучит еще явственнее: «Погибает человек насильственной смертью, человек, который около 40 лет делал дело по мере разумения, не колеблясь и не предательствуя — и никому как-будто до этого дела нет. . . Где кроме пошлого и оголтелого Пошехонья может быть такое явление, чтобы вчерашний день не имел ничего общего с нынешним, никакой связи?» . . . В дальнейшем Салтыков поясняет, что он имеет в виду отнюдь не открытое соболезнование литературы: он знает, что, при нынешних условиях, это вещь немыслимая; его поражает, что такие писатели, как, напр., Островский, пятнадцать лет сряду начинавший «новогодие журнала», или Л. Н. Толстой, за какой-нибудь месяц до закрытия письменно заявивший о своих симпатиях Салтыкову и его журналу, ни одним словом не выразили своего сочувствия. Хотя в «Приключении с Крамольниковым», написанном несколько позже, ответственность за столь позорное отношение к запрещению «Отеч. Зап.» переносится со среды на условия, сделавшие ее такой, как она есть, но все-таки чувство обиды не умирало в душе Салтыкова. . . И тем интенсивнее оно было, что он ни на минуту не переставал любить свое

родное Пошехонье, конечно, не в лице тогдашних «хозяев исторической сцены», а во всей совокупности его бедной серенькой природы и нищенского быта, характеризуемого невыносимо тяжелой борьбой за существование трудовых масс, управляемых невежественными и легкомысленными «помпадурами», бесшабашными и неистовыми «ташкентцами», день-ото-дня разоряемых скопищем Деруновых, Колупаевых, Разуваевых и Клубковых...

Нарисованная нами, отличающаяся далеко неисчерпывающей полнотой, картина пережитого и перечувствованного Салтыковым после запрещения «Отеч. Зап.», свидетельствует о том, что это событие нанесло ему рану, от которой вполне оправиться он уже не мог. Верный своему литературно-общественному призванию, он продолжал работать; его творческий дар временами разгорался ослепительно ярко, и он создавал произведения, не уступающие лучшим из его прежних творений, но за всем тем он не переставал себя чувствовать надломленным в самой своей сердцевине человеком, человеком, который не живет, а д о ж и в а е т. Близкий друг и постоянный врач Салтыкова Н. А. Белоголовый ставит даже ускоренный ход болезненного процесса, неуклонно, хотя и медленно, толкавшего его к могиле, в непосредственную связь с закрытием журнала и перенесенным им при том душевным потрясением. Как бы то ни было, в летописях многострадальной русской литературы, одной из самых трагических, думается мне, страниц является страница, посвященная рассказу о тех мытарствах, которые выпали на долю Салтыкова в роковое трехлетие с осени 1881 г. по весну 1884 г., и о том, что пришлось ему вынести после запрещения журнала.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ.[1]

Издания сочинений.

1. Сочинения М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина) 9 томов. Изд. автора; СПБ. 1889 — 1890 гг.

2. Полное собрание сочинений. 12 томов. Изд. Лит.-Изд. Отд. НКП 1918 г. (это издание является простой перепечаткой издания А. Маркса, выпущенного в 1905 г., в качестве приложения к журналу «Нива»).

Биография.

1. Арсеньев, К. Материалы для биографии Салтыкова (вошли в 9-й том изд. «Сочинений» 1890 г.).

2. Белоголовый, Н. М. Е. Салтыков. Из переписки Салтыкова (обе статьи вошли в книгу Белоголового «Воспоминания и другие статьи», издававшуюся несколько раз).

3. Кривенко, С. Н. Салтыков. Его жизнь и литературная деятельность. Изд. Павленкова. СПБ. 1891 г. (переиздано в 1915 г.).

4. Письма М. Е. Салтыкова 1845 — 1889 гг. Труды Пушкинского Дома при Росс. Акад. Наук; под редакцией Н. В. Яковлева. Госиздат. Ленинград, 1925 г.

5. Розенберг, В. Статьи в книге «Журналисты безвременья». Изд. «Задруги». М., 1917 г.

Литературная деятельность.

1. Арсеньев, К. Салтыков-Щедрин (литературно-общественная характеристика). Изд. «Светоч». СПБ., 1906 г. (к этой книге приложена ценная, хотя и не полная, «Библиография произведений Салтыкова и отзывов о них», составленная А. А. Шиловым).

2. Денисюк, Н. Критическая литература о произведениях Салтыкова-Щедрина. 5 томов. М., 1905 г. (в этих сборниках, обни-

---

[1] Печатаемый ниже «указатель» не претендует даже на относительную полноту. Его цель — назвать важнейшие биографические и критические работы по Салтыкову. Среди критических работ первое место отведено работам критиков-марксистов.

мающих период с 1856 г. по 1899 г., перепечатаны статьи о Салтыкове-Щедрине наиболее видных представителей русской критики XIX в., как-то: Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Михайловского, Скабичевского, Венгерова и многих других).

3. Кранихфельд, В. М. Е. Салтыков (опыт литературной характеристики). «Мир Божий», 1904 г., №№ 4, 6 и 7.

Памятник российскому дворянству в сатирах Щедрина «Современный Мир», 1906 г., №№ 10 — 11.

Десятилетие о среднем человеке. (Отношение Щедрина к основным тезисам народничества. Крестьянство, общество, буржуазия, пролетариат и интеллигенция в сатирах Щедрина). «Современный Мир», 1907 г., №№ 11 — 12.

Буржуазия в произведениях Щедрина (из готовящейся к печати книги о Салтыкове-Щедрине). «Минувшие Годы». 1908 г., № 1.

М. Е. Салтыков (История одного города). «Современный Мир», 1914 г., № 4.

Новая экскурсия в Головлево (к 25-летию смерти Салтыкова). «Русское Богатство», 1914 г., № 4.

Среди «ташкентцев» (к 25-летию смерти). «Голос Минувшего», 1914 г., № 5.

Памяти Щедрина. «Вольный Университет», 1914 г., № 9.

М. Е. Салтыков. «История русской литературы XIX в.», под редакцией Овсянико-Куликовского, т. IV.

4. Ольминский, М. Социалист-утопист в оценке современников. «Образование», 1906 г., № 11.

Салтыков-Щедрин (к 25-летию его смерти). «Просвещение, 1914 г., № 5.

Салтыков-Щедрин. (Из серии — «Кому пролетариат ставит памятники».) Издание Московского Совета. М., 1919 г.

5. Пыпин, А. М. Е. Салтыков. (Идеализм Салтыкова. Журнальная деятельность 1863 — 1864 гг. Библиографическая заметка.) СПБ., 1889 г.

6. Семевский, В. Крепостное право и крестьянская реформа в произведениях Салтыкова. Изд. «Донской Речи» 1906 г. (переиздано «Задругой» в 1917 г.).

7. Соловьев (Андреевич), Е. М. Е. Салтыков. Роль личности в истории. Кающийся дворянин и т. д. «Жизнь», 1899 г., №№ 2 — 3 и 6 — 9.

8. Яковлев, Н. В. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Борьба классов», 1924 г., № 1 и «Звезда», 1924 г., № 3.

Дополнение к библиографии статей Салтыкова в «Современнике» 1863 г. [1] (см. книгу Пыпина).

№ 1 — 2. «Известие из Полтавской губ.».
«Драматурги-паразиты во Франции».
№ 3. «Дополнение к известию из Полтавской губ.».
№ 5. «Еще по поводу заметки из Полтавской губ.».
№ 6. Рецензии на «Стихотворения» Каролины Павловой («Новые книги»).
№ 9. Рецензия на «Повести» Кохановской и «Стихотворения» Фета (отд. «Новые книги»).
№ 10. «Рецензия на «Сказание»... кн. Львова (отд. «Новые книги»).
№ 11. Рецензия на «Современное движение в расколе» (отд. «Новые книги»).

Псевдонимы М. Е. Салтыкова

за время сотрудничества его в «Отечествен. Записках» (1868 — 1884 гг.).

Основным псевдонимом остается . . . . . Н. Щедрин.
«Письма из провинции» (1868 — 1869 гг.) подписаны . . . . . К. Гурин.
«Дневник провинциала» (1872 г.) . . . . . М. М.
«Между делом» (1873 — 1875 гг.) . . . . . М. М.
«Отрезанный ломоть» (1876 г.) подписан . . Молодой человек.
«Круглый год» (1879 г.) . . . . . Nemo.
«Июльское веяние» (1882 г.) . . . . . М. С.
«Между делом» (1884 г.). . . . . Dixi.

Кроме того, в «Отечествен. Записках» рассматриваемого периода напечатано множество неподписанных статей и рецензий, принадлежащих, несомненно, Салтыкову. Так, например, не подписаны статья о Нечаевском деле и «Итоги» (1871 г.). Определение авторства Салтыкова в отношении всех неподписанных им статей составляет одну из интереснейших задач современной истории литературы.

---

[1] Настоящее дополнение делается на основании данных, извлеченных из найденных автором настоящей книги конторских книг «Современника».

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

От автора 3

Главные этапы жизни и деятельности М. Е. Салтыкова-Щедрина . 5

Глава I. Протест и обличение, как основа литературно-общественного служения Салтыкова. Сущность его общественных взглядов. Необходимость прибегать к «эзоповскому языку». Значение Салтыкова для его времени. Отжил-ли Салтыков? Салтыков и цензура . . 19

Глава II. Начало сотрудничества Салтыкова в «Отеч. Зап.». «Признаки времени» и «Письма из провинции». Отзывы о них Ф. М. Толстого. «История одного города» пред судом цензуры. Угловатость Салтыкова в сношениях с официальными лицами 29

Глава III. Нечаевское дело и влияние его на отношение власти к «Отеч. Зап.» и Салтыкову. III Отделение о статье Салтыкова, посвященной этому делу. Объявление журналу предостережения в июле 1872 г. Сожжение IX гл. «Благонамеренных речей» в мае 1874 г. . 37

Глава IV. Болезнь Салтыкова и его отъезд за границу весной 1875 г. Отражение его общественных взглядов в его письмах из-за границы. Очерк «Культурные люди» и вызванный им цензурный инцидент. «Обругание» Салтыковым Гамбетты. Салтыков на приеме у начальника гл. упр. по делам печати 47

Глава V. Общественный пессимизм Салтыкова во вторую половину 70-х годов. Взгляд его на взаимоотношения «людей 40-х годов.» и революционно-настроенной молодежи по очерку «Чужую беду руками разведу». Цензурные репрессии против этого очерка и первых глав «Современной Идиллии» 55

Глава VI. 1879 г. в изображении Салтыкова («Круглый год»). Цензурный террор этого времени. Объявление пре-

достережения «Отеч. Зап.» в январе 1879 г. «Тревоги и радости Монрепо» пред судом цензуры. Арест № 9 за статьи Щедрина. Итоги цензурных репрессий против Салтыкова в 70-ые годы . . . . . .

Глава VII. «Диктатура сердца» и ее истинный характер. Смягчение цензурного гнета. Скептицизм Салтыкова в отношении яко бы наступающей «новой эры». Цензурные инциденты этого времени . . . . . .

Глава VIII. 1 марта 1881 г. и отклики на него в произведениях Салтыкова. Отражение современной действительности в «Письмах к тетеньке». Попытка Салтыкова печатно заклеймить деятельность «Священной Дружины». Нападки Салтыкова на «земских людей» в 4-м письме к тетеньке. Протест его против «ябеды» в 5-м «Письме к тетеньке» . . . . . .

Глава IX. Усиление реакции с назначением Д. А. Толстого министром внутр. дел. Обвинение «Отеч. Зап.» в пропаганде «вредного социалистического учения». Плеве о предосудительности «Современной Идиллии». Общественный смысл этого произведения Салтыкова. Отношение к нему цензуры. Высылка Н. К. Михайловского. Второе предостережение «Отеч. Зап.» в январе 1883 г. «Пошехонские рассказы» . . . . .

Глава X. Арест С. Н. Кривенко. Цензурные репрессии против «Сказок». Агония «Отеч. Зап.» и нравственные терзания Салтыкова. Запрещение «Отечеств. Записок» в апреле 1884 г. Салтыков с «запечатанной душой» и загражденными устами . . . . . .

Библиографический указатель . . . . . .

Издательство Библиотека

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

М. Е. Салтыков (Щедрин)

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 6 ТОМАХ

Т. I. Губернские очерки. История одного города.

Т. II. Помпадуры и помпадурши. Господа Ташкентцы.

Т. III. Дневник провинциала. Благонамеренные речи.

Т. IV. Убежище Монрепо. За рубежом. Современная идиллия.

Т. V. Господа Головл вы. Сказки.

Т. VI. Пошехонская старина.

Ред. **К. Халабаева** и **Б. Эйхенбаума**

Биографический очерк и комментарии **Иванова-Разумника.**

М. Е. Салтыков (Щедрин)

ПИСЬМА

1845-1889.

С приложением писем к нему и других материалов.

Редакцией Н. В. Яковлева, при участии Б. Л. Модзалевского.

С портретом Салтыкова.

(Труды Пушкинского Дома при Российской Академии Наук.)

329+033. Ц. 3 р. 50 к.

Цена 1 р. 10 к.